Тетради по консерватизму

ISSN 2409-2517

№ 1 2018

С.С. Уваров: 200 лет Речи в торжественном собрании Главного Педагогического института (22 марта 1818 года)

фонд ИСЭПИ
Институт социально-экономических и политических исследований

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по отраслям 23.00.00 – Политология, 07.00.00 – Исторические науки и археология, 09.00.00 – Философские науки.

Рекомендовано к печати
Экспертным советом Фонда ИСЭПИ

Редакционный совет
Д.В. Бадовский, А.Д. Воскресенский, А.А. Иванов,
М.А. Маслин, Б.В. Межуев, А.Ю. Минаков, Р.В. Михайлов (гл. редактор),
Е.Н. Мощелков, Л.В. Поляков (председатель), С.В. Перевезенцев, М.В. Ремизов,
А.С. Ципко, А.Л. Чечевишников, А.А. Ширинянц.

Тетради по консерватизму: Альманах. – № 1. – М.: Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2018. – 392 с.

Очередной номер альманаха «Тетради по консерватизму» посвящен 200-летию речи С.С. Уварова, которую он произнес 22 марта 1818 года в торжественном собрании Главного Педагогического института в статусе Президента императорской академии наук, Попечителя Санкт-Петербургского учебного округа. В этом историческом документе отражены многие знаковые для русской гуманитарной мысли того периода идеи графа, позволяющие проследить интеллектуальную эволюцию будущего автора знаменитой идеологической триады «Православие, Самодержавие, Народность».

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77 – 67506.

© АНО «Средство массовой информации Альманах “Тетради по консерватизму”», 2018
© Некоммерческий фонд — Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2018

Содержание

Леонид Поляков
Слово к читателю
7

Введение
С.С. Уваров
Речь Президента Императорской Академии наук, Попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного Педагогического института 22 марта 1818 года
11

Раздел первый

Время Уварова: идейный контекст

М.М. Шевченко
С.С. Уваров. Политический портрет
27
Д.А. Бадалян
«Официальная народность» или народность? С.С. Уваров и А.С. Хомяков
51
А.О. Мещерякова
Граф С.С. Уваров в контексте русского консерватизма первой половины XIX века
67
С.В. Удалов
В тисках идеологии: власть и общество в России второй четверти XIX века
76
Е.С. Холмогоров
Русификация русских. Граф Уваров и третий русский национализм
86
игумен Виталий (Уткин)
Мифология истории, народность и православие в концепции графа С.С. Уварова (к разработке проблемы)
124

Раздел второй

Служение Уварова: образование как nation-building

А.Ю. Минаков
Предтечи С.С. Уварова в поисках идеологического обоснования правительственной политики в области народного просвещения в 1817–1825 годах
145

М.А. Волхонский
Лазаревский институт восточных языков в политике министра народного просвещения С.С. Уварова.1830-е–1840-е годы
165
В.В. Ванчугов
Роль «триады» Уварова в трансформации отечественной философии
182
А.И. Любжин
Две модели русского образовательного классицизма. Граф С.С. Уваров и граф Д.А. Толстой
193

Раздел третий

Вокруг Уварова: в прошлом и всегда

Д.А. Бадалян
С.С. Уваров и журнальная борьба 1830–1840-х годов
203
А.А. Ширинянц
«Теоретик официальной народности»: М.П. Погодин и триединая формула С.С. Уварова
219
А.А. Тесля
«Изгои истории»: Василий Розанов о монархии. 1890-е годы
233
С.В. Перевезенцев
«По устроению дедню и отню»: к вопросу о значении традиционализма в русской истории
243
М.А. Маслин
Предтеча евразийства. Ориентализм С.С. Уварова в исторической перспективе
255

Раздел четвертый

Уваров о времени и о себе (мемуары)

М.М. Шевченко
Опыт автобиографии Сергея Уварова. 1852
267
М.М. Шевченко
Записка С.С. Уварова о крепостном праве в России (1830/1831)
335

Раздел пятый

Консервативные ценности в современном российском обществе: каковы они и кто их разделяет?

Первое заседание Консервативного клуба. 27 марта 2018 года
363

Егор Холмогоров

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-86-124

Русификация русских. Граф Уваров и третий русский национализм

Пойми, кто может, буйную дурь ветров!
Валы катятся – этот отсюда, тот
Оттуда... В их мятежной свалке
Носимся мы с кораблем смоленым,

Едва противясь натиску злобных волн.
Уж захлестнула палубу сплошь вода;
Уже просвечивает парус,
Весь продырявлен. Ослабли скрепы…

Алкей[1]

Дано ли нам посреди бури, волнующей Европу, посреди быстрого падения всех подпор гражданского общества, посреди печальных явлений, окружающих нас со всех сторон, укрепить слабыми руками любезное Отечество на верном якоре, на твердых основаниях спасительного начала?

С.С. Уваров

История русской общественной мысли в последние десятилетия переживает настоящий уваровский ренессанс (если не сказать – реставрацию). Совершенно отброшена пыпинская концепция «официальной народности» и предложены свежие интерпретации уваровский триады [52, 54, 58, 69, 76]. Во всех деталях разобрана интеллектуальная биография Сергея Семеновича, предстающего как один из крупнейших консервативных интеллектуалов первой половины XIX столетия [43, 44, 56, 57, 62, 63, 75, 77]. Это корреспондент де Местра [67], собеседник г-жи Сталь [49], друг барона Штейна [12, 53], заочный интеллектуальный соперник Гизо [43; 52, с. 345–351]. Извлекаются один за другим из архивов или атрибутируются из анонимных публикаций рукописи графа, раскрывающие основы его политического мировоззрения [15, 17, 18, 19, 43].

И только одна область изучения среди этого масштабного движения по-прежнему пребывает в некотором застое, опираясь на устаревшие и зачастую ангажированные формулировки, – это вопрос о *месте графа Уварова в истории русского национализма*.

[1] Перевод В.В. Иванова.

Холмогоров Егор Станиславович, публицист. E-mail: holmogorow@yandex.ru

Мы сталкиваемся со своего рода парадоксом. Для зарубежных авторов, например для Бенедикта Андерсона, имя Уварова является практически нарицательным, синонимом официального имперского национализма, до той степени, что он характеризует Томаса Маколея как «самонадеянного молодого английского Уварова» [39, с. 249]. Отечественные же исследователи иной раз стремятся так или иначе принизить значение как лично Уварова и его идейного наследия, так и всего связанного с ним этапа в развитии русского национализма.

Аргументация строится на искусственно конструируемом противоречии между национализмом, началом народности, якобы носящим в Европе той эпохи революционный, уравнительный, прогрессивный характер, и архаичными началами православия и самодержавия, перекрещенными к тому же в «господствующую церковь» и «имперский абсолютизм» [52, с. 374].

Фактически восторжествовавшая в наших исследованиях национализма линия сводится к тому, что политика Уварова была направлена на перехват понятия «нация» и националистического дискурса у революционных, демократических кругов [68, с. 32]. Уваров якобы осуществляет выхолащивание этого понятия и *вытеснение* слова «нация» словом «народность», так как понятие о нации обладало взрывным революционным потенциалом [78, p. 320–321]. Уваровская народность рассматривается как придающая *флёр* исторической глубины Православию и Самодержавию [68, с. 33]. В крайнем случае выражается готовность признать, что Уваров намеревался «действовать в националистической логике, при этом не слишком мобилизуя эту логику в общественном мнении» [58]. Самодержавие мыслится *декорирующим* себя теми или иными формальными национальными атрибутами, однако эта декоративность раскрывает определенные «лазейки» для подлинной националистической мысли и духа [65, с. 340]. Сквозь эти лазейки просачивается мысль славянофилов, учение которых и было, по определению А.А. Тесли, «первым русским национализмом» [68, с. 5].

Сам подбор экспрессивной оценочной лексики в условиях отсутствия каких-либо источников, свидетельствующих о неискренности уваровской политики, говорит, что мы имеем дело с конструированием историографического *мифа*. Мол, Уваров коварно пытался навязать русскому мужику-народности генерала-самодержавие и архиерея-православие, чтобы он их прокормил. В любой другой области знаний концепция, которая до такой степени напоминает «теорию заговора», была бы оспорена, а то и подверглась бы осмеянию. Но русский национализм как объект исторического исследования переживал и не такое.

«Третий» русский национализм

Славянофильство, безусловно, не было первым русским национализмом. В лучшем случае – четвертым. Если не вступать в спор о соотношении модернистской и перенниалистской парадигм в понимании национализма и говорить о нации только как о явлении нового времени, если не касаться националистических настроений в русском обществе XVIII века, ярко охарактеризованных Лией Гринфельд [47, с. 185–262], то и в этом случае «первым русским национализмом» придется признать национализм Карамзина и «Беседы».

А.Ю. Минаков так обозначает сущность этого «первого национализма»: «народ как единое органическое иерархически организованное целое, большая патриархальная семья, в которой главную роль играет воля царя, выражающая волю коллективного целого и опирающаяся на собственные, глубоко отличные от западных национальные традиции. Такое целое не нуждалось в верховной власти народного представительства, ограничении власти самодержца конституцией, разделении властей, отмене сословных привилегий» [60, с. 382–383].

«Вторым русским национализмом» придется признать национализм декабристов [64, с. 24–30; 65, с. 313–337]. С.М. Сергеев видит «уникальное место декабризма в истории русского национализма» в том, что декабристы органично соединили идею демократии и идею национальной самобытности, создали детальную программу, выступили как самостоятельная политическая сила, причем действительно могли взять власть. В последнем пункте дозволительно серьезно усомниться, но несомненно, что декабристы выработали очень яркий политический национализм революционно-демократического толка [65, с. 337].

«Третьим» русским национализмом был национализм императора Николая I и Уварова. Даже исследователи, приписывающие Уварову стремление избавиться от термина «нация», настаивают, что «деятельность Уварова находилась под сильнейшим воздействием идей националистической политики» [78, p. 321]. При этом важно помнить указание Н. Рязановского о том, что очень трудно разделить идеи и действия царя и министра [79, p. 46]. Сохраняя основные элементы «первого национализма», «третий национализм» их уточняет применительно к эпохе развитых консервативных наций, каковой была вторая четверть XIX века. Этот национализм опирается на идею нации как самобытного исторического лица, своеобразие которого может быть раскрыто в истории и проявляется в культуре. Для придания этой нации модернистской унификации используется распространение стандартизированного образования, находящегося под государственным контролем и осуществляющегося в духе стандартизированной идеологической формулы. Эта унификация требует русификации других наций и этносов, входящих в состав России, и опоры на «природную русскость» в кадровом и идейном смысле. Культурной доминантой становится всё более углубленное открытие (и изобретение) нацией самой себя через постижение прошлого. Самодержавие «претендует на отражение воли народа, делая царя в его церемониальных проявлениях представителем всей нации», что закрепляется поклоном с Красного крыльца в Кремле [70, с. 392].

Национализм славянофилов, равно как и панславистов уваровского круга – Погодина и Шевырева (особенно с учетом надуманности их отличения от «истинных славянофилов»), при всей его глубине и парадигматической значительности для русской мысли, стоит в этом ряду всё-таки лишь четвертым и был бы совершенно невозможен без третьего.

«Третий национализм» Николая I и Уварова необходимо рассматривать как национализм в самом строгом смысле слова. Он содержит прозрачную, если не подвергать ее искусственным перетолкованиям, концепцию русской нации, противопоставление себя совокупности чужих национализмов как в границах Империи, так и за ее пределами, и развернутую, чёткую, реалистичную (по крайней мере в теории – на практике всё оказалось сложнее) программу *нациестроительства* (nation-building) через постепенный охват всех составляющих нацию социальных и этнических групп находящимися под правительственным контролем образовательными структурами. В обозначении николаевской политики как «*национальной революции* “*сверху*”» нет ни малейшего преувеличения [64, с. 30]. Показательно, что, столкнувшись с революционной волной 1848 года, Николай I проводит как бы символическую встречную революцию – в манифесте 14 марта 1848 обещая защитить Русь, а в апреле 1849 и августе 1851-го посетив Москву и каждый раз снова совершив поклон народу [70, с. 516–527].

Утверждение, что правительство Николая I стремилось вытеснить понятие «нации» понятием «народности», основано на явном недоразумении. В революционной утопии – «Русской Правде» Пестеля – слово «нация» ни разу не применяется к «Коренному Народу Русскому», оставаясь только для двукратного употребления применительно к инородным национальностям, зато «Народность» и «Право Народности», состоящее в праве народа составлять отдельные государства, выступают в качестве одного из центральных политических понятий всей Пестелевой системы [27].

В то же время даже сам автор теории «Народность против нации» А.И. Миллер признаёт: «Сам Уваров писал nationalite, – и в ряде его русских текстов мы встречаем также слово “национальность” в контекстах, похожих на те, в которых используется слово “народность”» [59, с. 59]. Получается, что Уваров внес в официальный дискурс «народность» – совершенно подрывной термин из радикальной революционной программы, но при этом даже не достиг этим цели вытеснения, пользуясь понятиями «национальность» и «нация» сам, в том числе и в программных формулировках: «*национальные начала*», «*развить русскую национальность на истинных ее началах*». Авторы, воспринимаемые нами как достаточно близкие к уваровскому официальному дискурсу, употребляют понятие «национальный» в сугубо положительном смысле, как М.П. Погодин в наделавшей шуму в 1841 году своим мнимым «угодничеством» статье «Петр Великий» [29, с. 359].

Представляется, что вытеснение из публичного дискурса понятий «национальность» и «нация» понятиями «народность» и «народ» имеет более простое и очевидное объяснение. Это вытеснение было следствием борьбы за ту самую н*ациональность/народность* в сфере языка. Употребление коренного славянского слова вместо чужестранного как бы подтверждало решимость правительства, а вместе с ним и общества, двигаться от «несродной нам личины» к подлинному национальному лицу в такой важнейшей сфере как политическое словоупотребление. Вчитывание же в понятие «нация» непременного конституционализма, а в понятие «народ» подспудного самодержавия – слишком произвольная, по сути – постструктуралистская, операция.

Эпоха Николая I была эпохой *русского национализма у власти*. Такая вновь наступит в масштабах всей России только при Александре III, – не случайно Б. Андерсон представляет «русификатора всея Руси» исполнителем уваровской программы, якобы оказавшейся преждевременной для его деда [39, с. 110]. На деле между императором Николаем I и его министром существовало полное согласие относительно необходимости русификации, разница была лишь в том, что создатель триады выступал за более мягкие, ненасильственные ее темпы. Необходимо помнить, что во многих случаях всеподданнейшие доклады и официальные публикации Уварова излагают царю мысли… самого царя, иногда дипломатично смягченные министром. В этом смысле главным деятелем «третьего национализма» был, безусловно, сам император Николай Павлович.

При этом нельзя отрицать определенных конфликтов националистов «третьей волны» с националистами «четвертой волны» – славянофилами. Самым знаменитым и во многом мифологизированным в современной публицистике эпизодом этих разногласий была кратковременная отправка в крепость Юрия Самарина за его дерзкие «Письма из Риги» [34]. Однако надо отчетливо понимать, в чем была *сущность* конфликта царя и молодого чиновника. Не в том, что Николай I отрицал необходимость русификации остзейского края, а в том, что самаринские письма ставили под сомнения *успехи* правительственной политики в этой русификации, показывая ее мнимость и разрушая авторитет генерал-губернатора А.А. Суворова, по жалобам которого Самарин и был наказан.

Самарин призывал идти на штурм – «с мечом в руках, как Магомет», – как упрекнул его в беседе император. Осторожный Уваров, ссылаясь на особенности немецкого характера, предлагал длительную осаду – «немцев налету схватить невозможно; против них надобно вести, так сказать, осаду» [1, с. 182]. Ни у того, ни у другого, ни у самого царя не было сомнений в том, что остзейская крепость должна быть взята. Взыскание Самарину носило дисциплинарный характер, вроде тех, что налагаются на горячих молодых офицеров, поспешностью нарушивших строй в баталии. «Правительство многое знает, чего оно не высказывает до времени и держит про себя», – выговаривал царь проштрафившемуся молодому чиновнику, каким в его глазах и был Самарин, к тому же его крестник [61, с. 48].

В отношениях Уварова со славянофилами очевидно не только скрытое полемическое напряжение, но и систематическое посильное покровительство – он предлагает Хомякову возглавить «Журнал Министерства народного просвещения», предупреждает его через Самарина об опасности появляться в русском платье в Москве, так как это «может повредить всем вашим друзьям» [35, с. 295]. Погодинский «Москвитянин» превращается для славянофилов в важную (особенно в 1845–1847 годах) трибуну. «Что касается до “Москвитянина”, то с ним славянофилов, в то время, почти невозможно было отличить», – иронически цитирует Погодин Пыпина, пытающегося расцепить «хороших» оппозиционных славянофилов и «дурных» охранительных уваровцев [30][1].

«Истинное славянофильство», так же как и погодинско-шевыревское направление, возросло под уваровским крылом, хотя А.И. Миллер, безусловно, прав, когда обращает внимание на тот факт, что безоговорочной поддержкой министра пользовались отнюдь не Погодин и Шевырев, а Н.Г. Устрялов и западник Т.Н. Грановский [58].

Можно говорить о том, что официальная националистическая политика Николая I и Уварова была недостаточной с точки зрения позднейших русских националистов, что в ней слишком сквозило недоверие к любой самодеятельности общества, а установка на правительственное воспитание чувств и разума подданных трансформировалась в навязчивое менторство.

Но не должно быть сомнений в том, что это была искренняя и чистосердечная политика, подчиненная ясно выраженному намерению: «*Развить русскую национальность на истинных ее началах и тем поставить ее центром государственного быта и нравственной образованности*» [1, с. 167]. Эта политика осуществлялась людьми, которые ощущали, что сами недополучили русское воспитание и стремились сделать для своих детей в плане выработки национальной идентичности больше, чем их родители сделали для них.

Личная семейная история Сергея Семеновича, судьба его сына – крупнейшего русского археолога, одного из основателей Исторического музея, А.С. Уварова, это с очевидностью подтверждает. На семейном микропримере мы можем оценить степень успешности нациестроительства, осуществлявшегося С.С. Уваровым[2].

«Новое поколение лучше знает *Русское* и по-Русски, чем поколение наше», – это восклицание министра выражает искреннюю отцовскую радость [3, с. 110].

[1] Там же Погодин рисует идиллическую картину покровительства Уварова журналу:

«В 1842 году, в начале “Москвитянина”, писано было тайному советнику Уварову (министру просвещения): “В последние годы некоторые журналы, и в особенности “Москвитянин”, приняли за особенную тему… возбуждать участие к политическому порабощению некоторых славянских народов, представлять им Россию, как главу, от которой могут они ожидать лучшего направления в будущности, и явно рукоплескать порывам к эмансипации, – заключало это донесение, – едва ли можно считать такую пропаганду неопасною?”.

Министр Уваров, благоволивший к “Москвитянину” и его редактору, препроводил донесение к московскому генерал-губернатору шутливым приглашением принять меры против угрожающей для Москвы опасности от статей “Москвитянина”. Князь Д.В. Голицын, благоволивший также к “Москвитянину” и его редактору, написал к Уварову шутливую записку, когда тому случилось вскоре приехать в Москву: “Venez, mon cher, et cherchons les moyens pour detourner la guerre entre la Russie et la Porte Ottomane”» [Приходите, дорогой, и давайте искать способ развязать войну между Россией и Оттоманской Портой – *фр.*] [30].

[2] Сергей Семенович всю жизнь писал на французском языке и, по злой (и вряд ли в полной мере справедливой) характеристике, данной ему С.М. Соловьевым, «во всю жизнь не прочел ни одной русской книги». «Порецкий музеум» Уваровых заключал в себе обширную коллекцию антиков, собранную Уваровым-старшим, и еще более обширную коллекцию русских икон и рукописей, собранную Алексеем Сергеевичем, составившим, во многом опираясь на эти материалы, двухтомный труд «Христианская символика» и «Русская символика», вторая часть которого осталась, к сожалению, целиком не опубликована. Первая работа А.С. Уварова, опубликованная с подзаголовком «Отрывок из Русской символики», посвященная иконографии Ангела хранителя с деяниями, опубликована в 1864 году, спустя всего пятнадцать лет после того, как его отец покинул министерство [51].

Четыре национализации, или «нацбилдинг» по-русски

Сердцевиной николаевско-уваровской национальной программы была последовательная национализация образования и науки Российской Империи, производившаяся одновременно в четырех направлениях: создание публичных школ, замена образовательных кадров «природно русскими», русификация образования на окраинах и русификация самих русских, углубление национального сознания.

«Русское правительство первым в XIX веке объявило образование особой функцией государства. Вскоре за ним последовали и другие европейские правительства», – отмечает Цецилия Виттекер [44, с. 79]. Не надо долго распространяться о важности, вероятно – центральном значении стандартизированного образования в формировании современных наций. Достаточно дать слово Эрнсту Геллнеру, в чьей концепции национализма как феномена современности, образованию отведена роль краеугольного камня. По сути, в геллнеровской интерпретации, нация – это совокупность граждан одного государства с помощью образовательной машины принужденных правительством к единой культуре:

> «Гигантская, дорогостоящая стандартизованная система образования перерабатывает целиком весь человеческий материал, которому предстоит влиться в общество, превращая это биологическое сырье в социально приемлемый культурный продукт. Подавляющую часть затрат на образование берет на себя государство или представляющие его местные власти. В конечном счете только государство (или чуть более широкий сектор, включающий также некоторую часть «общественности») может вынести на своих плечах тяжкое бремя этой ответственности, одновременно осуществляя контроль за качеством продукции в этой важнейшей из всех отраслей – в производстве социально приемлемых человеческих существ, способных делать необходимую для этого общества работу. Это становится одной из главных задач государства. Общество необходимо гомогенизировать (gleichgeschaltet), и руководить этой операцией могут только центральные власти» [46, с. 159].

Именно эти задачи – гомогенизация гражданского общества через культуру и создание «социально приемлемого» верноподданного гражданина – ставило перед собой уваровское министерство. Может возникнуть сомнение в уместности употребления применительно к политике подчиненного самодержцу министерства в сословном обществе термина «гражданское общество». Однако этот термин – один из наиболее часто употребляемых Уваровым: в сословности и неравноправии он видит структурность гражданского общества, а не его отрицание: «Все классы гражданского общества стремятся к целому, но стремятся разными путями: что одному классу необходимо, то бесполезно и вредно другому» [4, с. 115]. В уваровской логике предполагается, что правительство знает, что именно потребно тому или иному классу граждан и доставляет «свое каждому» с помощью правительственной образовательной системы.

Первая национализация – «просвещение для всех»

С.С. Уварову с несомненностью принадлежит заслуга создания целостной системы русской национальной высшей и средней школы. Именно он осуществит полноценное обобществление образования, его *национализацию* в противоположность предшествовавшей приватизации.

> «Главная задача по Министерству народного просвещения состояла в том, чтобы собрать и соединить в руках правительства все умственные силы, до-

толе раздробленные, все средства общего и частного образования, оставшиеся без уважения и частию без надзора, все элементы, принявшие направление неблагонадежное или даже превратное, усвоить развитие умов потребностям государства», – отмечал министр [1, с. 236].

Эта национализация была не только исполнением воли императора заменить хаос частного с опорой на иностранных учителей образования дворянского сословия, контролировать идейное содержание и научное качество которого правительство не могло, публичным образованием, находящимся полностью в государственных руках. Это было и удовлетворение ясно вызревшей в русском обществе потребности.

«В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное: ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести… Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное», – говорит Пушкин в записке «О народном воспитании» [32, с. 357].

Уваров оформляет стройную систему образования, центральным элементом которой выступают государственные гимназии, призванные охватить прежде всего дворянство. Важную роль играют училища для всех свободных сословий. Публичной школе придан систематический стандартизированный вид: точно определены обязанности преподавателей всех уровней, строгие правила определили программы, учебники, порядок экзаменов и критерии отбора учащихся. Всевидящие и всеслышащие инспектора, учрежденные по образцу, введенному во Франции Гизо в его бытность министром просвещения, вникали в каждую деталь образовательного процесса.

«Домашнее воспитание… мало-помалу было поглощено воспитанием публичным. Ныне частные училища и пансионы составляют малейшую частицу в средствах народного образования», – резюмирует Уваров. На деле частное образование при Уварове тоже расширилось, Ц. Виттекер даже обвиняет министра в «опасной игре» вопреки воле императора, стремившегося покончить с частной школой [44, с. 158]. Однако по сути частное образование изменило свой характер – оно оказалось ориентировано прежде всего на недворян и на женщин, составлявших 65% учеников частных школ [44, с. 157].

«Сословная исключительность» дворянства, если и существовала в уваровской системе, то только в теории. На практике и в гимназиях, и тем более в училищах, представители недворянских свободных сословий занимают все более заметное место – если это и противоречило намерениям царя, то взглядам министра это вполне соответствовало. Для министра нацию составляют вместе все сословия и классы, и все они должны быть привержены национальному духу, вере предков и верности трону, но доза образования должна распределяться по мере потребностей каждого класса и лица[1].

«Не все классы, составляющие народ вообще, имеют равные умственные потребности: иные обязаны идти в даль; другие принуждены останавливаться посреди пути; несравненно большее число достигает полной своей цели, достигнув первых начал образования» [4, с. 115]. Правительство «*желает просвещения для всех по мере надобности каждого* для вящего утверждения народного духа в верности Религии предков и преданности к Трону и Царю» [4, с. 115]. Уваров категорически отвергает «феодальную» интерпретацию этого принципа: «Под словом *высшего класса* разумеем всех, коих природа наделила высшими умственными способностями и коим гражданское состояние не препятствует достигать полного своего развития» [4, с. 119]. Иными словами, из потен-

[1] Тут не было ничего своеобычно русского – Ц. Виттекер приводит выразительную подборку из высказываний прусского короля Фридриха Вильгельма III, французского философа Виктора Кузена и даже основателя ланкастерских школ Эндрю Белля о том, что неправильно слишком многому учить детей и тем самым «делать их недовольными своей судьбой и несчастливыми» [44, с. 159].

циального «высшего умственного класса» Уваров исключает только людей крепостного состояния, для всех остальных – купцов, мещан и свободных поселян открыто полное среднее, а для почетных граждан и высшее образование.

Не следует забывать при этом практического финансового смысла этих сословных перегородок: ресурсы министерства были достаточно ограниченными, и Уваров предпочитал не равномерно размазывать их по всему пространству Империи ради незначительного подъема образованности и обучения за госсчет слуг помещиков (что и без того встречалось в уездных училищах сплошь и рядом), а сосредоточиться на «точках роста» – университетах и гимназиях, которые могли составить костяк для дальнейшего расширения всей образовательной системы.

На основании сословного деления русского общества иногда делаются выводы, вовсе отрицающие существование русской нации (и, соответственно, нациестроительский характер уваровской школы). Согласиться с этим, конечно же, нельзя – русская нация существовала, но носила, как и многие другие европейские нации, иерархический характер. Это была *иерархическая нация* в терминологии Энтони Смита [80].

Созданная Уваровым школа не была всеобщей и равной, но она была при этом всеохватной – каждому сословию назначались четко прописанная мера допуска к образованию и его доза, не допускавшая уклонений. Правительство охотно смирялось с иванами-дураками, но не намерено было впредь терпеть митрофанушек.

Вторая национализация – «природно русское» ученое сословие

Значительное внимание министерство Уварова уделяло кадровой революции в русском образовании (причем как в развивающемся публичном, так и в вытесняемом частном), а именно – смене национального состава, привлечению «природно русской» профессуры и учителей.

Это напрямую вытекало из идеологических установок Манифеста 13 июля 1826 года, в котором постулировалось, что Россия – государство, «где любовь к Монархам и преданность к Престолу основаны на природных свойствах народа», а стало быть от дворянства, «ограды Престола и чести народной», требуется «подвиг к усовершению отечественного, природного, нечужеземного воспитания» [20].

«Создать и укоренить в Отечестве нашем самостоятельное ученое сословие, независимое в развитии умственной деятельности от влияний чуждых систем и примеров» – так обозначает Уваров программу этого направления [1, с. 161]. Это касается и домашних учителей, возведение которых в разряд госслужащих «вызвало на это полезное служение природных русских, которые… привыкли предпочитать государственную службу всякой иной» [1, с. 148].

Кто подразумевается в данном случае под «природными русскими»? Речь идет, конечно, не о «русских по крови», речь о «русских по происхождению».

В послепетровскую эпоху большая часть русского ученого сословия состояла из приглашенных немцев, а после Французской революции к ним прибавились беглые abbes («*В те времена не было ни одного видного семейства, которое не имело бы у себя какого-нибудь французского аббата*», – отмечает Уваров в своей автобиографии), не говоря о многочисленных madames и monsieur.

Николаевское царствование стало эпохой полного демонтажа монополии иностранных воспитателей. «С 1835 г. ежегодно получали аттестаты домашних учителей примерно по 300–500 человек, причем десять процентов из них всегда составляли иностранцы. В 1845 царь потребовал более жестких мер, и в следующем году иностранцев осталось только 11 человек из 400 аттестованных. В 1848 г. иностранцев, желавших стать домашними воспитателями, больше в Россию не допускали» [44, с. 156].

«Природный русский» преподаватель должен был родиться, возрасти и получить воспитание в России, и лишь усовершить свое образование в Европе. Понимание народного духа и особых условий страны будет для него естественным и само собой разумеющимся.

В свидетельство своего успеха в этой национализации Уваров призывает внешнего наблюдателя, который «увидит на кафедрах профессоров русских младшего поколения, не уступающих ни в чем лучшим иностранным преподавателям, с тем только, что природное чувство привязанности ко всему народному укрепляет между ними и слушателями благородную связь, дотоле небывалую… кто из них отличнее по таланту, тот и замечательнее по чувству русскому и по непорочности мнений» [1, с. 164–165].

Третья национализация – провал «умственного слияния»

Ни в чем так ярко и бесспорно не проявляется националистический настрой Николая I и Уварова, как в программе русификации окраин империи. Из четырех специальных «проблемных пунктов», по которым А.А. Тесля предлагает определять сходства и различия программ русского национализма: польский вопрос, остзейский вопрос, украинофильство, славянский вопрос [68, с. 39–47], – по первым двум Уваров изложил развернутую, стройную и реально проводимую в жизнь программу в отчете на десятилетие управления министерства в 1843 году (о двух других пунктах речь позже).

Специфика той ситуации, в которой оказался русский национализм в XIX веке, состояла в том, что он практически не сталкивался с проблемой внешней ирредены. Подавляющая часть русского народа была соединена под скипетром государей из рода Романовых. Галицийская проблема как острая национальная проблема еще долго не сознавалась и в любом случае была каплей, отделенной от русского моря. Более существенным вопросом была внутренняя ирредента областей, которые были возвращены из состава Речи Посполитой в ходе разделов Польши, и где требовалось возвратить русский язык, православную веру и этническое самосознание.

Соответственно практически полному отсутствию внешних этнических задач у русского национализма отсутствовала необходимость актуализовать те черты идеологии, которые были актуальны для национализма немецкого: общность происхождения, «расы», языка. «В русских условиях “народности” нет нужды создавать политического субъекта… поскольку этот субъект уже наличествует в лице Российской империи» [68, с. 33]. Для русских единство происхождения и языка, по крайней мере если говорить о пространственном, а не классовом аспекте, было в XIX веке ничего не объясняющей тавтологией (сейчас, в XXI веке ситуация изменилась, и мы наблюдаем «германизацию» русского национализма прямо на глазах).

Сознательный немец, если он не был пруссаком, обязан был быть «антипатриотом» и мечтать о поражении своего малого отечества во имя торжества единой Германии. Русский национализм при своем зарождении сталкивался с противоположной проблемой: в том же отечестве живут представители других этносов, других религий, других культур и цивилизаций. Соответственно, перед русскими вставал вопрос цивилизационной, культурной, а, по возможности, и религиозной ассимиляции соотечественников. Вопрос состоял в том, как сделать если не всех, то значительную часть представителей меньшинств природными патриотами.

«Народный суверенитет» был для русских бессмысленной и опасной доктриной, поскольку потенциальная «нация как гражданское сообщество» должна была быть намного больше числом русской нации как этноса. Именно с этой проблемой пытается справиться Пестель в «Русской Правде», противопоставляя «праву народности» «право благоудобства» [27]. Принцип народности играет в этом конституционном проекте не на стороне русских, которые и так составляют Коренной Народ. Напротив, «право народности» требует отде-

ления от русских всевозможных окраин, сепаратистские поползновения которых политический мыслитель-декабрист ограничивает «принципом благоудобства», а иногда, как в случае Польши, капитулирует перед ними. Как Пестель намеревался, сокрушив русское самодержавие, уговорить народы остаться под властью России «из соображений благоудобства», – это навсегда осталось тайной, возможно и от самого декабриста.

Программа «третьего национализма», изложенная Уваровым, базировалась на гораздо более прочном основании – самодержавии. Будучи одновременно исторической национальной властью русских, самодержавие было в то же время источником господства над обширной и чрезвычайно разнородной империей, в которой причудливо перемешивались разные принципы легитимности – феодальная присяга, право завоевателя, религиозное, с привкусом суеверия, почитание «Белого Царя» восточными народами. Для русского национализма, выразителями программы которого были царь и министр, фундаментальная задача заключалась в том, чтобы привести это многообразие лояльностей к единому образцу – образцу той национальной власти, которой пользовался русский царь у своего русского народа[1].

Соответственно русский национализм этой эпохи обречен был строиться на державном патриотизме, форсировании православия и общих культурных черт, которые должны *перекрывать* этничность и быть для привлекаемых к общему русскому делу инородцев выше голоса крови.

Главной из этих культурных черт, конечно, должен быть «*язык русский – этот великий двигатель русской народности*» – как выражается Уваров [1, с. 177]. Министр предполагает применить новое мощное оружие, которое оказалось в руках у правительства, – образовательную систему, в которой преподавание ведется на русском языке. Создание «социально приемлемых существ» должно здесь носить национально-культурный характер, осуществляясь при помощи русификации.

При этом «социальная неприемлемость» поляков и остзейских немцев – факт, который ни министр, ни венценосный читатель его докладов под сомнение не ставят. Уваров ярко говорит о «взаимной ненависти одного языка к другому, римской церкви к Православной, западной цивилизации к восточной» [1, с. 166], но рассчитывает осуществить «умственное слияние сих начал с надлежащим перевесом русского» [1, с. 167]. Относительно немцев он едко характеризует их сомнительную роль в послепетровской России и претензию быть наставниками и культурными руководителями русских: «Истинное и главное заблуждение немецких губерний состоит в том, что они до сих пор не постигают, “что Россия возмужала”... – настаивает министр. – Они упорно заключают, что Россия – тот же младенец» [1, с. 180–181].

[1] Мнение о том, что Российский император есть прежде всего государь русского народа, а не средоточие многонациональности, – основоположная доктрина русского национализма в XIX веке от Карамзина до Погодина, Каткова и далее. «Любите людей, но еще более любите Россиян, ибо они и люди и Ваши подданные, дети Вашего сердца. И Поляки теперь слушаются Александра: но Александр взял их Русскою силою, а Россиян дал Ему Бог», – обращается в 1818 году Карамзин к Александру I в «Мнении русского гражданина» [21, с. 437]. «Русский государь родился, вырос на русской земле, он приобрел все области с русскими людьми русским трудом и русской кровью. Курляндия, Имеретия, Алеутия и Курилия суть воскрылия его ризы, полы его одежды, а его душегрейка есть святая Русь. Видеть в государе не русского, а сборного человека из всех живущих в России национальностей, это есть такая нелепость, которую ни один настоящий русский человек слышать не может без всякого негодования», – заявляет в 1864 году Погодин [31, с. 655].

Ничто в самаринских «Письмах из Риги» не задело Николая I, всегда апеллировавшего к «природной русскости», так болезненно, как читавшийся между строк намек, что он окружен немцами и сам немец. «Вы хотели сказать, что со времени Императора Петра I и до меня мы все окружены Немцами и потому сами немцы… Ваша книга… стремится подорвать доверие к правительству и связь его с народом, обвиняя правительство в том, что оно национальные интересы русского народа приносит в жертву Немцам», – выговаривал он славянофилу [61, с. 48].

Центральной трудностью остзейского и польского вопросов, которая и сделала их основными для русского национализма, состояла в том, что здесь русскому влиянию противостояли две европейские нации, с большим или меньшим основанием рассматривавшие себя как культурно превосходящие русских. В конструкции европеизированной и европеизирующей Империи, осознанно выступающей агентом просвещения и на этом строящей свою легитимность, не было и не могло быть нормальным положение, что какие-то народы ощущают себя или в самом деле являются стоящими в большей степени вровень с Европой, чем русские.

Польский вопрос Уваров делит на две составляющие. Первая – это ирредентистское культурное отвоевание Западного края, возвращенного Екатериной (и едва не переданного Александром I назад Польше, что остановила полная скрытых угроз записка Карамзина – один из ярких памятников «первого русского национализма»). «Язык русский едва был слышен на этом огромном пространстве», – констатирует Уваров [1, с. 168]. «В Белоруссии народ говорит по-русски, владельцы – по-польски; народ не имеет русских школ или весьма мало, не учится русскому языку и, к стыду нашему, начинает забывать оный; тут нужно принять быстрые и решительные меры» [4, с. 117].

Однако тактика, которую предлагает Уваров для решения этой задачи, весьма специфична – это *русификация польского дворянства*, главным инструментом которой должен был стать Университет Св. Владимира в Киеве. Эта русификация польской элиты должна была «сглаживать те резкие характеристические черты, которыми польское юношество отличается от русского, и в особенности подавлять в нем мысль о частной народности, сближать его более и более с русскими понятиями и нравами, передавать ему общий дух русского народа» [1, с. 169].

Значительная часть польской шляхты Западного края была русской шляхтой, некогда ополяченной и окатоличенной в иезуитских коллегиумах. Ничего невозможного в *рерусификации* их не было. Мало того, время от времени она сама собой происходила, как у Достоевских: дед писателя был униатским священником, отец еще родился польским подданным. Однако подобный обратный ход, успешно использованный Церковью при воссоединении в те же годы западнорусских униатов, Уварову в голову не приходит. Министр рассматривает полонизм как «природное» состояние подлежащего перевоспитанию юношества. «Последуют ли они влиянию духа русского или, напротив, распространят они дух своего племени, дух враждебный во всех изменениях и под всеми личинами?» [14, с. 340].

Второй частью вопроса был вопрос о русификации коренной Польши, где Россия царила по праву завоевателя, торжествующего в «споре славян». Здесь Уваров выступает апологетом среднего пути между силовой русификацией, поддерживавшейся фельдмаршалом Паскевичем, и мечтательностью александровского царствования, стремившегося восстановить Польшу, «между двумя крайностями: между ультрарусским, понятным, но бесплодным и бесполезным чувством явного презрения к народу, имевшему доселе мало прав на наше сочувствие, и между ультраевропейскою наклонностию сделаться в глазах этого народа предметом его слепого энтузиазма» [1, с. 199].

Эта средняя стезя видится Уварову как использование мягкой силы России. Он отменяет принудительное обучение только на русском языке в Царстве Польском и уповает на то, что «будучи воспитаны в ненависти и презрении к России, вид ее могущества, ее устройства, ее образования непосредственно действует на умы юношества и поселяет в них нечувствительно какое-то уважение к ее первенству между славянскими племенами, которое должно непринужденно и мало-помалу переменить до корня все их понятия» [1, с. 201]. Иными словами, Уваров надеется на то, что Россия в будущем будет обладать таким могуществом и притягательностью, таким превосходством в цивилизации, что это само по себе сблизит молодые поколения поляков с Россией. А.И. Миллер спра-

ведливо характеризует такую стратегию Уварова как «не ассимиляция, но аккультурация», ориентированная на выработку «уважения к имперскому центру как центру цивилизационного притяжения» [58].

Чтобы достичь этой интеграции, Уваров инициировал систематическую командировку в Россию будущих польских юристов, которые должны были учиться в Москве и Санкт-Петербурге и служить по пять лет в центральных русских губерниях. А.И. Миллер связывает унификацию университетских программ в империи именно с планом перемешать студентов – выходцев из центра и студентов с окраин [78, p. 322]. К неудовольствию попечителя Московского учебного округа графа Строганова, на стипендии для этих студентов было к 1845 году истрачено 32 000 рублей, которых так не хватало русским бедным студентам [44, с. 225]. В коня ли был корм, показывает тот факт, что виднейший вождь польского восстания 1863 года Викентий Константин Калиновский окончил именно юридический факультет Санкт-Петербургского университета (правда, уже в начале эпохи Александра II).

Аналогичны были надежды Уварова и в русификации остзейского края, где он выступал идеологом ненасильственного подталкивания к изучению русского языка. Его надежды переменить горделивость и упрямство немцев основаны на том, что Россия теперь более прогрессивное государство, чем раздробленная Германия, и тем более чем застрявшие в феодальной эпохе с ее привилегиями остзейские губернии. «Тщетно дух остзейских губерний считает себя представителем немецкого просвещения в России; мы это просвещение понимаем и ценим вернее их» [1, с. 181]. Отныне не немцы русских, а русские немцев могут и должны учить тому, что есть истинная европейская образованность.

Впрочем, Уваров держал Дерптский университет под своим постоянным покровительством и использовал его высокий «импортный» научный уровень для того, чтобы готовить профессуру для остальной России. То есть на практике просвещение шло попрежнему с Запада на Восток [44, с. 228].

Остзейской реакцией на русификаторские поползновения правительства был упорный саботаж. Русский язык изучали (или по крайней мере делали вид, что изучают), но ни малейшего желания переходить на него в Дерптском университете и судах не изъявляли, пользуясь в этом попустительством генерал-губернатора А.А. Суворова, писавшего в столицу, что «всякое понудительное распоряжение казалось бы изъявлением некоторого неудовольствия правительства и недоверия к собственным усилиям жителей» [22, с. 511].

Усилиями ставшего своего рода оводом остзейцев Ю.Ф. Самарина правительство постепенно начинало осознавать роль немецкой особости как тормоза при русификации самой России. Когда Самарин в 1868 году публиковал в «Окраинах России» высказывание вице-президента Лифляндского гофгерихта фон Бокка: «Германия должна радоваться, что люди по отношению к ней *свои*, вступая в русскую службу и овладевая государственными силами России, приобретают возможность *мешать ей сделаться вполне русскою*» [цит. по: 22, с. 528], он уже мог предполагать эффект подобных цитат на будущее. Бисмарковская Германия стояла на пороге единства, в связи с этим остзейцы оказывались в эпицентре конфликта двух национально-имперских идентичностей, и это делало решительную политику Александра III неизбежной.

Горькое разочарование ждало бы Уварова, проживи он на восемь лет дольше, и в польском вопросе. В 1863 году польское восстание, руководимое в Западном крае дворянами, выучившимися в русских университетах (правда, по большей части в Петербургском, а не в специализированном Киевском), пришлось подавлять белорусским крестьянам, тому самому народу, который «говорит по-русски», и образование которых министерство привело в меру «пользы умственной и нравственной людей этого сословия».

Заметим, что крупную роль в подавлении восстания сыграли русские старообрядцы-беспоповцы федосеевского, филипповского и поморского согласий, полностью разгромив-

шие отряд Л. Плятера, что послужило своеобразным прологом действий М.Н. Муравьева [41]. Вряд ли случаен тот факт, что это была именно та часть русского народа, у которой существовали собственные, независимые от правительства традиции самобытного русского образования.

Пожалуй, самый крупный государственный деятель из последовательных сторонников русского национализма – Муравьев – взял по отношению к Западному краю именно ту «ультрарусскую линию», которую считал столь нежелательной Уваров. Он вовсе отказался от попыток русифицировать шляхту и сделал ставку на того, кто уже был «природно русским», – мужика, обращаясь к этническому и культурному самосознанию русского населения края и налаживая в нем образование с опорой на выходцев из великорусских губерний, поляков же стараясь полностью из этой системы исключить[1].

Вместо уваровской цивилизационной интеграции на основе европейской цивилизации с «надлежащим перевесом» русского начала Муравьев делает ставку на цивилизационное размежевание посредством прежде всего религии. Это размежевание сочетается с попыткой утянуть максимальное число местных жителей, в первую очередь крестьян, на русскую православную сторону путем «разделения оспариваемой паствы», переделки костелов в православные храмы, раздачи крестьянам православных крестиков и т.д[2].

Как мы видим, «третьей национализации» Уваровым уделялось, в соответствии с пожеланиями царя, огромное внимание, однако ее результаты были хотя и не нулевыми, но гораздо менее впечатляющими, чем на остальных направлениях. Ни одну из национальных проблем на западной окраине Российская Империя до конца своего существования так и не решила, а если были достигнуты какие-то успехи, то совсем не на путях уваровской «мягкой силы». Этот неуспех уваровской модели был связан с внутренней противоречивостью ее идеологического фундамента.

Основные русификаторские усилия были нацелены на народы, которые являлись яркими представителями западной цивилизации и в культурном, и в религиозном отношениях. Уваров рассчитывал, что успехи образования и науки в Российской Империи вызовут переподключение как поляков, так и остзейских немцев к Западу через Россию. Он не без резона указывал, что николаевские русские являются более модернизированными представителями европейской цивилизации, чем провинциализированные остзейцы, а поляки, лишившиеся самостоятельного источника политического и культурного развития, и вовсе не найдут вскоре иного доступного источника европейской образованности, кроме русского. Таким образом, Уваров, по выражению А.И. Миллера, ставил проблему «цивилизационной привлекательности русского центра» [58].

Однако для того, чтобы Россия могла выступать для остзейцев и поляков в качестве своеобразного «провайдера» европейской цивилизации, она должна была бы сама все более в эту цивилизацию погружаться, и русские должны были бы приобретать характер «средних европейцев». Но деятельность уваровского министерства имела парадоксаль-

[1] См. прежде всего работу А.Ю. Бендина, в которой подробно проанализирован характер этой борьбы Муравьева как «столкновения цивилизаций» [42], а также монографии А.А. Комзоловой [55] и Э.П. Федосовой [71].

[2] В работах М.Д. Долбилова [48, там же на с. 823 перечисление основных публикаций автора] предпринята попытка своего рода постструктуралистской «деконструкции» образа Муравьева и муравьевской политики – под сомнение ставится ее системный националистический характер, ее осознанность и последовательность. Разумеется, в любой практической политике можно отыскать массу непоследовательностей, но в целом политика Муравьева – это, пожалуй, одна из наиболее цельных, последовательных и осознанных русских националистических политик, когда-либо проводившихся властями Российской Империи. В попытке обесценить этот факт можно увидеть своего рода постмодернистскую игру – «социально неприемлемый» Муравьев-«вешатель» вводится в качестве легитимного для либеральной историографии объекта изучения через стирание его наиболее ярких, идеологически пугающих, знаковых черт. Однако сам же автор отмечает символическое значение этой фигуры [48, с. 830], доходившее у русских Западного края до почти религиозного культа.

ный результат. Чем больших успехов достигала уваровская просветительская программа, тем в большей степени для русского самосознания становилось очевидно, что Россия – это самостоятельная цивилизация, не сводимая к европейской и чуждая ей в самих основах. Во все более очевидное противоречие с программой, выбранной министерством для третьей национализации, – русификации окраин, входила программа четвертой национализации – *русификация русских*.

Парадокс четвертой национализации: слишком Русское и слишком по-Русски

Не менее чем автор «триады», граф Уваров должен был бы быть известен как автор двуединой формулы: «*Русская система и Европейское образование*» [13, с. 131–132]. «Сохраняя все выгоды европейского просвещения, подвергнув умственную жизнь России вровень с прочими нациями, – характеризует Уваров деятельность своего министерства, – оно желало дать ей самобытность народную, основать ее на началах собственных и привести в соответственность с потребностями народа и государства» [1, с. 206].

Однако уваровская программа национализации окраин строилась на предпосылке единства европейской цивилизации, европейской образованности, при множестве народов, ей причастных. При допущении множественности цивилизаций, множественности гражданских образованностей, система переставала работать. Чтобы отчетливее понять тот смысловой капкан, в которой попала с течением времени уваровская доктрина, необходимо пристальнее присмотреться к составлявшему ее логический центр понятию «народность».

«Слово “*Народность*” возбуждало в недоброжелателях чувство неприязненное за смелое утверждение, что Министерство считало Россию возмужалою и достойною идти не *позади*, а, по крайней мере, рядом с прочими европейскими национальностями», – пишет в 1843 году Уваров [1, с. 235–236]. Подбор слов «*рядом с прочими европейскими национальностями*» как нельзя лучше характеризует его политическое видение.

Русские – это одна из наций Европы. Нации при этом толкуются Уваровым довольно широко, как крупные исторические субъекты, которые в современной посттойнбианской терминологии скорее обозначали бы как «цивилизации», Шпенглер бы назвал «культурами», а Данилевский точнее прочих – «культурно-историческими типами». Уваров говорит о «греческой нации», «индийской нации» [8], в последнем случае разумея ту разноязычную, разноплеменную, разнокультурную среду, которая могла казаться чем-то единым лишь внешнему наблюдателю и лишь в немногих культурных чертах. Германцы же, к примеру, для него «народ» или скорее даже «народы».

Европейская нация для Уварова – это нация, причастная к европейской образованности и цивилизации. Точнее, такая формулировка для Уварова почти тавтология, поскольку цивилизация для него, как и для Гизо, есть образованность, «гражданское образование» [52, с. 345–351].

В 1829 году Уваров посвятил проблеме цивилизации главу своего неопубликованного труда «Etudes sur la Russie au XIX siècle», названную «De la civilisation en Russie» [43]. В ней он рисует картину своеобразного формирования в России цивилизации не из борьбы за власть третьего сословия против аристократии и плебса, как то было во Франции, а из прививаемого правительством высшим классам желания стать вровень с Европой. Уваров рассчитывает, что в России удастся водворить цивилизацию и распространить европейскую образованность, в том числе и на низшие классы, избежав возникновения «третьего сословия», которое, будучи охоче до привилегий аристократии, использует цивилизацию и промышленность, по сути, для захвата власти.

Здесь мы видим наиболее своеобразную черту уваровского национализма – в то время как большинство модернистских национализмов имеет однозначно «третьесословный» характер, уваровская программа несет столь же отчетливый отпечаток осознанного желания не допустить становления «Tiers état» и превращения его в самодовлеющую нацию, подавив и поглотив остальные сословия.

Уваров видит особый исторический путь России в том, что она может в полной мере воспользоваться «привилегией отсталости». «Промысел благословил Россию, призвав ее последнею в сонм просвещенных государств!» [13, с. 131]. К этой любимой мысли о модернизационном скачке, который составляет историческое преимущество России, Уваров возвращается не раз и не два в самых разных контекстах. Россия молода и потому не принуждена развивать своекорыстное третье сословие, чтобы обеспечивать с его помощью развитие цивилизации. Россия молода, «мы не знали промышленности мануфактурной в первобытном ее виде» [13, с. 130], а потому машины здесь благотворны и не отнимают хлеб у рабочих. (Сергей Семенович, назвавший Волгу «Нилом России», по всей видимости, никогда не слышал, как бурлаки на этом «Ниле» рассказывают истории о том, что конкурирующие с ними пароходы движет пар от мучающихся в аду душ утопленников.)

Те же выгоды юности Уваров видит и в гуманитарном развитии России, сравнивая между собой ее и Рим, тоже некогда молодым вышедший на поприще древней цивилизации. «Наша словесность есть некоторым образом поздний цвет нового политического образования России… Римляне сперва овладели миром и впоследствии уже начали думать о просвещении. Из сего следует, что их литература, как и наша, не отличается оригинальностью; но их литература имеет, по крайней мере, свой характер; и сей характер заимствован от греков…» [8, с. 299–300]. Прививку молодой нации древнего греческого начала Уваров рекомендует и для русских: «...основать новейшее русское образование тверже и глубже на древней образованности той нации, от которой Россия получила и святое учение веры, и первые начатки своего просвещения», – обращает на себя внимание, что он совершенно не различает Древней Греции и Византии [1, с. 152].

В этой связи стоит формулировка Уваровым своей программы, донесенная до нас дневником А.В. Никитенко: «Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, по крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог. Надобно продлить ее юность и тем временем воспитать ее. Вот моя политическая система» [26, с. 362]. Характерно то, кого в этом размышлении Уваров называет в качестве главных своих противников: «Греч, Полевой, Сенковский и проч.» – иными словами, представители буржуазного, третьесословного направления в русской журналистике, носители той альтернативы, которой Уваров всячески стремится избежать. Эти люди в его представлении преждевременно хотят «состарить» Россию и тем навредить ей.

В чем заключается это старение, Уваров выпукло показал в своем эссе «О преподавании истории относительно к народному воспитанию», опубликованном в 1813 году, задолго до формулировки «триады». «Быстрый ход наук и художеств, сильное распространение роскоши и общежития, направления к торговле сблизили между собою все государства Европы. Сей порядок вещей, *искоренив мало-помалу почти в каждом государстве народный дух* [выделено мной – *Е.Х.*], готовил медленную пагубу всей Европе» [7, с. 374]. Уваров рисует картину «первой глобализации», неразрывно связанной с деятельностью третьего сословия, и видит в ней причину упадка того источника оригинальной жизни и культурного творчества, которым является *народный дух*. Будь Уваров нашим современником, его подход назвали бы антиглобализмом и идентитаризмом.

Средство сохранения молодости народного духа Уваров видит в преподавании истории. Тому, кто наставляет русских в истории, «до́лжно возбуждать и сохранять, сколь-

ко можно, народный дух и тот изящный характер, на который ныне Европа смотрит, как изнеможенный старец на бодрость и силу цветущего юноши» [7, с. 374].

В ранней историософии Уварова Россия предстает народом-юношей, лишь приобщающимся к европейской образованности, чтобы встать вровень с более зрелыми европейскими народами. Она, как Рим, вошедший в цивилизацию со Сципионовым мечом, чтобы прибавить к нему Овидиеву лиру. Силой она приобретет себе право не только «народами править державно», но и научать основам цивилизации, сама постигая их во все большей мере. Тем самым Россия в уваровской теории получала право наставлять в цивилизации подвластных ей поляков и германцев.

История Российского государства и русской словесности должна была стать в представлении Уварова запасом своего рода молодильных яблок, способом приобщения русских к своему собственному народному духу, *русификации русских*.

Когда Уваров формулировал первоначальный вариант своей триады, он не случайно обозначил ее как *некоторые остатки* русской народности.

> «Посреди всеобщего падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, невзирая на повсеместное распространение разрушительных начал, Россия, к счастию, сохранила доселе теплую веру к некоторым религиозным, моральным и политическим понятиям, ей исключительно принадлежащим. В сих понятиях, в сих священных остатках ее народности находится и весь залог будущего ее жребия…» [2, с. 103].

Смысл, вкладываемый Уваровым в понятие «остатков» или даже «священных останков» (как сказано в докладе на десятилетие министерства), точнее всего выразил уваровский интеллектуальный «фаворит», как именует его А.И. Миллер [58], – историк Николай Герасимович Устрялов. В «Начертании русской истории для средних учебных заведений», опорном учебнике для всей уваровской образовательной программы, он пишет:

> «Древний Русский мір исчез с большею частью его уставов, законов, форм, нравов, обычаев; впрочем главные непременные условия Русской жизни, Религия и Самодержавие остались неприкосновенными» [81, с. VIII].

То есть, по Устрялову (и стоящему за ним Уварову), Религия и Самодержавие – это то, что *осталось* от древнего Русского міра, исчезнувшего после петровских преобразований. По счастью, эти остатки имеют основополагающий характер, и потому русская жизнь не прервалась, но все подробности русской народности, как оказывается, исчезли.

Однако уваровская триада носит, в сущности, кризисный, чрезвычайный, спасательный характер. Министр обещал царю «найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие; собрать в одно целое священные останки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения» [1, с. 135]. И останки утонувшего древнего русского міра начинают инструментами исторической, археографической и филологической науки один за другим извлекаться на поверхность, собираться в целое, упорядочиваться и пропагандироваться через новоутвержденную систему образования. Усилия «возмужавшей» России направляются на то, чтобы открыть секрет ее молодости.

В соответствующем ключе была составлена программа уваровских гимназий и училищ, которым надлежало стать краеугольным камнем нового русского образования. В средней школе 36% времени отводилось, как указывает Ц. Виттекер, на закон Божий, русский язык и литературу (сочинения русских писателей от Ломоносова до Пушкина), российскую историю в изложении Карамзина и географию со статистикой [44, с. 168].

Особое внимание уделялось преподаванию русской истории. «Российская история может сделаться охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия, самою верною и надежною» – провозглашал еще в 1832 году Погодин, заступая на кафедру

в Московском университете [28, с. 16]. Университетские кафедры истории и словесности в мире уваровского «нацбилдинга» были главными сборочными цехами. Именно достижения русской истории и филологии составляют главную гордость уваровского «направления»:

> «К какому прибегнули мы средству и какое орудие оказало более услуг, как не возбуждение духа отечественного в тройственной формуле «Православие. Самодержавие. Народность»? Если наши сыновья лучше нас знают родной язык, если они ближе знакомы с нашей историей, с нашими преданиями и народным бытом, то не произошло ли все это оттого, что образованию их дано повсюду русское направление? Если до берегов Немана и далее все заговорило по-русски, все учится по образцу русскому, если даже в Остзейском крае усиливается ежедневно владычество отечественного образования, то не русский ли язык и не русский ли дух произвели и продолжают производить этот благодатный результат? Если, наконец, публичное воспитание, без содействия запретительных мер, совершенно уничтожило частное, то не следует ли приписать это добровольное всех отцов семейств отчуждение иностранных воспитателей от образования их детей влиянию духа Русского, проявившегося во всех распоряжениях наших?
>
> Для усиления и укрепления этого духа Министерство необходимо обязано было обратиться к источнику оного – к основательному изучению церковнославянского языка и сродных славянских наречий, и потому, с разрешения Вашего Величества, учреждены в русских университетах кафедры славянского языка и занятие оным поставлено обязанностью и в средних учебных заведениях. Главнейшие памятники нашей древней славяно-русской литературы вышли из забвения, множество актов и документов, служащих к узаконению истории, обнародованы иждивением правительства...» [6, с. 82–83].

Успехи археографической экспедиции во главе со Строевым, издание многочисленных актов, летописей и хронографов, разыскания С.М. Соловьева (того самого, что даст позднее Уварову нелестную характеристику) в его шведской экспедиции, извлечения, касающиеся русской истории, даже из Ватиканского архива – все эти исторические открытия, которым Уваров посвящает немало страниц в своем отчете [1, с. 219–224], углубляли познание русскими самих себя, укрепляли национальное самосознание.

Исчезнувший «древний Русский мір» вступал в свои права. Но открывавшаяся взору мыслящего русского человека картина приводила его к выводу, что **Россия есть не младшая среди европейских наций, а оригинальная самобытная цивилизация, равночестная с европейской**.

Здесь-то и обозначилась точка расхождения уваровского «третьего национализма» с «четвертым национализмом» славянофилов.

Славянофилы с энтузиазмом относились к реставрации исторической памяти, проводимой уваровским министерством. В 1840 году в письме французскому депутату Могену юный Самарин провозглашает: «Обратимся к изучению нашего прошлого. Извлечем его из праха, исследуем в нем зародыши жизни, наши природные начала, которые по сие время не могли получить надлежащего развития» [33, с. 52]. Однако выводы из этой реставрации делались не совсем уваровские.

Уже в 1836 году, готовясь к полемике с «Философическим письмом» Чаадаева, А.С. Хомяков (хорошо знакомый и находящийся в постоянном живом диалоге с Уваровым) принимает характерное уваровское уравнение «Греция = Византия». Однако это приводит его к совершенно иной итоговой конструкции:

> «От добровольного соединения Греции и Севера родилась Русь: от насильственного соединения Рима с Севером родились западные царства. Греция

> и Рим отжили. Русь – одна наследница Греции; у Рима много было наследников» [36, с. 452].

В этом уравнении Россия не выступает в отношении к Европе аналогом Рима в его отношении к Греции. Напротив, Русь, по Хомякову, – это прямая наследница старшей ветви древней цивилизации, греческой, от соединения с нею северного начала. Европа же – это прямая наследница младшей ветви, римской, при соединении ее с тем же северным началом.

«Русский мір» в славянофильской перспективе – это не ученик европейской цивилизации, не «Рим» в его соотношении с эллинизмом, а наследник старшей греческой цивилизации в соотношении с наследником младшей римской. Русский мір предстает у Хомякова как своего рода Стрыйчич Европы. Одно из двух начал – северное, варварское, у Руси и Запада общее и обеспечивающее им равенство, другое – различное, и оно дает Руси право на старшинство.

Весьма показательна заостренная полемичность замечаний Хомякова о крестовых походах, бывших для Уварова, находящегося в контексте раннего романтизма, высшим проявлением европейского начала, манифестацией молодости европейского духа.

«Крестовые походы были первым движением дремлющих сил Европы» [7, с. 372]. «Промысел родил в недрах феодальных законов способ и случай их навсегда уничтожить. Сей способ – Крестовые походы. Они – последнее испытание юной Европы; последний ее порыв, последняя ее поэзия» [8, с. 311]. «Крестовые походы, которые в первый раз представляют Европу в виде одного великого семейства, занятого одним общим делом, имеющего в виду одинакую цель» [8, с. 314].

Хомяков не только отбрасывает крестовые походы как нечто чуждое Руси, но и представляет их как бесполезные игрушки, которыми Европа была занята в то время, как русские образовывали свою душу и развивали высокую словесность.

> «В XII веке у нас христианский мир уже процветал мирно; а в Западной Европе что тогда делалось? – возражает Хомяков не столько уже Чаадаеву, сколько всем романтикам-евроцентристам. – Овцы западного стада, возбужденные пастырем своим, думали о преобладании; но, верно, святые земли не им были назначены под паству. Бог не требует ни крови, ни гонений за веру; мечом не доказывают истины. Бог слова покоряет словом. Гроб Господень не яблоко распри; он – достояние всего человечества. Таким-то образом мнимо великое предприятие должно было рушиться. Мы не принимали в нем участия, и похвалимся этим. Мы в это время образовали свой ум и душу – и потому-то ни одно царство, возникшее из средних времен, не представит нам памятников XII столетия, подобных Слову Игоря, Посланию Даниила к Георгию Долгорукому и многим другим сочинениям на славянском языке, даже и IX, и X столетий» [36, с. 455].

Для Уварова Россия и русские – равночестная европейским молодая духом нация, обладающая остатками собственных народных начал, составляющих ее особенное историческое лицо, но нуждающаяся в европейской образованности и цивилизации для усовершения этих начал. Для славянофилов Русь и русские есть почтенная самобытная цивилизация, имеющая собственные основания и устроение, которым европейская образованность не во всем содействовала, а во многом и повредила.

Уваровская Россия нуждается в благодетельном попечении правительства и его образовательных учреждений, которые осуществляют «модернизационный скачок», приобщающий русских к цивилизации, минуя буржуазность и третьесословность. Славянофильская Русь нуждается прежде всего в том, чтобы ей *не мешали быть собой,* а всё остальное она и без того умеет, что доказывают документы истории… собранные Строевым и изданные стараниями самого же Уварова [37, с. 457].

В любом случае, период ученичества и умственного покорства Западу для русских закончен. Благом были дела Петра или злом, но европейский период для России с воцарением Николая I завершился, в этом согласны оба славянофильских крыла – и панслависты в лице Погодина, и «истинные славянофилы» в лице Самарина – «влияние Запада на Россию кончилось… отныне наше развитие будет вполне самобытно» [33, с. 52].

Даже сам министр Уваров оказался встроен Погодиным в эту схему исхода из Европы в его вызвавшем столько нареканий со стороны славянофильского кружка за «угодничество» панегирике Петру Великому 1841 года [29, с. 359]:

> «Период Русской Истории от Петра Великого до кончины Александра должно назвать периодом *Европейским*. С Императора Николая, который в одном из первых своих указов по вступлении на престол повелел, чтоб все воспитанники, отправленные в чужие края, будущие Профессоры, были именно Русские, – с Императора Николая, которого Министр, в троесловной своей формуле России, после православия и самодержавия поставил народность, – с Императора Николая, при котором всякое предприятие на пользу и славу отечества, предприятие Русское принимается с благоволением, начинается новый период Русской Истории, период *национальный*»[1].

Славянофильская программа разом подрывала и основания для правительственного образовательного менторства, и уваровскую логику русификации окраин. Оригинальная самобытная русская цивилизация не может быть «провайдером» ценностей и образованности западной цивилизации для народов западной же цивилизации. Это столь же неестественно, как если бы иезуиты учили русских византийскому богословию. В миссионерской практике Рима подобное, кстати, имело место и не раз, но правительство в Петербурге до такого не додумалось, так как все еще рассматривало западную культуру как универсальную. Так зарождаются предпосылки муравьевского «разбора оспариваемой паствы», причем не только церковного, но и цивилизационного.

«Третий русский национализм» уперся в драматическое противоречие между националистическим *историцизмом*, на который опиралось обновление народного духа и восстановление основ «Русского міра» при помощи чтения ветхих летописей, и европеизирующим *цивилизаторством*, из необходимости которого исходила программа тотального (хотя и сословного) образования. Русские внезапно оказались слишком русскими.

Национализм по Гегелю: Уваров против славизма

По всей видимости, Уваров далеко не сразу осознал внутреннее противоречие между историцизмом и цивилизаторством в созданном им идеологическом поле. В 1839 году он публикует в «Журнале Министерства народного просвещения» в рубрике «Действия правительства» анонимный программный очерк «Обозрение истекшего пятилетия» [16].

Исследователи зачастую включают его в число произведений атрибутируемых Уварову. Такой вывод представляется поспешным. Ни по шишковистскому стилю, ни по кругу идей он совершенно не соответствует личным стилю и идеологии Уварова. Фрагменты его ни разу не появляются в позднейших уваровских сочинениях, хотя метод «копипасты» был для писательской манеры Сергея Семеновича в высшей степени характерен. Однако несомненно, что Уваров не придал бы этому тексту кого-то из своих сотрудников программного статуса, если бы не был с ним согласен и не считал, что он в достаточной степени выражает идеологию и программу его министерства.

[1] Попутно отметим еще раз присутствие в этом программном, считаемом образцово-пропагандистским тексте слова «национальный», якобы «вытесняемого» правительственной политикой.

В «Обозрении» заявляется, что Россия обладает древней образованностью, задержанной нашествием варваров, приобщенной к Европе Иваном III и лишь *обновленной* Петром Великим.

> «Россия уже за восемь веков явила свои первые народные Училища и книжный язык, обогащенный всеми красотами Библии в превосходном Славянском переводе. Пастыри Церкви насаждали в простых сердцах народа благотворные семена Веры Православной, а в письменных беседах с Князьями передавали иногда им наблюдения опытного любомудрия. Видим и Песнопевцев, славивших подвиги могучих витязей. Законы, торговля, промышленность содействовали развитию просвещения, и оно, хотя и замедляемое удельными междоусобицами, должно было постепенно разлиться на все состояния народа, как вдруг остановилось под игом варваров… Вера не дала ему померкнуть на веки. Новый день блеснул с Иоанном III; Россия стала усваивать себе плоды тогдашней Европейской образованности; но еще предстоял ей новый, страшный период испытания. Наконец и он, с помощью Веры и любви к Отечеству, протек невозвратно; хищники Трона исчезли перед доблестным Домом Романовых. Россия шествовала к своему величию, и, введенная десницею Петра Единственного, взошла на чреду первых Государств Европы. Зиждитель новых сил ея был вместе и обновителем ей просвещения, которое расцвело потом под державою Екатерины Великой и Александра Благословленного» [16, с. 2–3].

Впрочем, за новоевропейское образование Россия уплатила немалую цену – слепое пристрастие к чужому и зависимость от Европы, утрата самобытного характера литературы. Конечной целью николаевско-уваровской образовательной революции автор ставит обращение умов, привыкших жить «*иноземщиной*» (одно это шишковистское слово напрочь исключает возможность атрибуции данного текста перу лично Уварова), к «восстановлению в нас Святой Руси, но уже не в прежнем ограниченном виде, а в нынешнем, достойном великой монархии и всеобщих успехов образованности» [16, с. 3–4].

Особую трактовку автор «Обозрения» дает и уваровской триаде, которую «находим в опытах веков и особенно в бытописаниях нашего Отечества». Оригинальностью отличается его интерпретация Православной Веры как устанавливающей самобытность русской цивилизации исторической силы.

> «Вера, торжествующая над всеми земными бедствиями, помогла ему устоять среди всех бурь и волнений; сохранила бытие России при напоре и полудиких орд языческого Востока и полупросвещенных полчищ мятежного Запада; и она же, основанная в нашем Отечестве на незыблемом камени Православия, служит ему вернейшею защитой от того развращения умов, которое гибельнее всех физических зол и иноплеменных нашествий» [16, с. 8].

Под полчищами мятежного Запада, разумеется, конечно же, наполеоновское нашествие «двунадесяти языков», одушевляемых полупросвещенным якобинским духом[1].

В «Обозрении», по сути, расшатываются несколько краеугольных камней личной

[1] «Представителями консервативного просвещения от Екатерины II, Фонвизина и Карамзина до Пушкина и Вяземского сформирован отчетливый полемический образ полупросвещения, для которого характерно соединение двух отрицательных черт. Первая, – радикализм, – сочетание умственной поверхности, амбициозности, мечтательности, "катилинства", склонности к решительным и авантюристическим действиям, по сути – якобинству. Вторая, – презрение к отечеству и народу, отчужденность от русских начал и традиции, некритическая приверженность новому и иностранному. Отождествление просвещения и цивилизации с западными, европейскими началами, превращающее полупросвещенца в духовного иностранца» [74 с. 62] – там же очерк разработки понятия «полупросвещение» в русской консервативной мысли.

уваровской доктрины – постулируется древность цивилизации и просвещения в России, констатируется неочевидность выгод образовательной зависимости от Европы, утверждается самостояние Святой Руси как особого исторического и цивилизационного феномена между Востоком и Западом.

Однако министр, давая добро на публикацию этого манифеста, противоречий не видел или не хотел видеть и считать существенными, хотя, подавая императору четыре года спустя обзор десятилетних трудов министерства собственного сочинения, дословно излагает свою западнически-просветительскую версию доктрины, впервые изложенную в черновике, опубликованном А.Л. Зориным [15], и затем многократно повторенную: «священные останки народности», «Церковь отцов», «Самодержавие – краеугольный камень величия русского колосса», «народность как физиономия, которая меняться не должна».

Появляются, впрочем, и новые мотивы в интерпретации триады, изложенные в «Заключении» [1, с. 234–237] через противопоставление членам триады противоположных им ложных начал. *Самодержавие* есть противоположность *либерализму* и утверждение приверженности русскому монархическому началу во всем его объеме. *Православие* – противоположность *мистицизму*, положительное понимание религии, удаление от всех мечтательных призраков, помрачающих чистоту священных преданий Церкви. *Народность* – противоположность *принижению* России, утверждение цивилизационной «взрослости» и равноправия русских с иными национальностями Европы[1].

Уваров в отчете 1843 года безоговорочно остается в рамках своей европеизаторской парадигмы, хотя и дополненной выпадами против «слепого подражания иноземному». Его целью по-прежнему остается «приноровление общего всемирного просвещения к нашему народному быту, к нашему духу» [1, с. 235]. Находясь в интеллектуальном поле двух славянофильств, министр, однако, почти не меняет собственного подхода, хотя и готов в иных случаях, как в «Обозрении», выдавать славянофильский подход за официальный.

Однако в 1847 году в уваровских воззрениях происходит резкий скачок, интеллектуальные и биографические истоки которого еще требуют уточнения. Столкнувшись с серьезным административным вызовом после дела «Кирилло-Мефодиевского общества» [50], в котором европейский демократический панславизм наложился на доморощенное украинофильство, Уваров выдает совершенно новую версию своей историософской и политической доктрины, полемичную в отношении всех версий славянофильства.

Нас сейчас меньше интересует уваровский ответ на украинский вопрос, сформулированный в кратких и сильных выражениях. «Мы видим здесь следы какого-то слепого стремления провинциального духа к разъединению, когда, напротив, славянство, не ставя в счет ни географические, ни политические препятствия, неуклонно хочет соединения всех частей в одно, уничтожения всякого провинциального духа… в брожениях, обнаруженных перед правительством, господствует не дух славянский, а какой-то отголосок украинских предрассудков» [6, с. 81].

Более существен тот ответ на вызов славянофильства с его концепцией особенной славяно-русской цивилизации, который министр даст в докладе о славянстве и с еще большей выпуклостью в публицистическом «Циркуляре», подлежавшем широкому обнародованию.

Уваров здесь резко переменяет философскую систему, на которую опирается, и в свете новой системы славянство оказывается уже не исторической древностью, которая противостоит юной и недозрелой России, нуждающейся в европейской образованности.

[1] В последнем случае уваровская «народность» – это явная полемика с германским менторством, выраженным в переданном через Бенкендорфа письме императору академика-остзейца Паррота, который возражал против уваровской программы русификации Балтийских провинций со ссылкой на то, что тогда Россией некому будет управлять, так как с этим справятся только немцы.

Напротив, славянство оказывается необработанным младенчеством, которому противостоит зрелость, историческая выработанность самобытной русской цивилизации, добившейся успеха там, где прочие славянские народы постигла неудача. Настоящее оказывается национальней прошедшего.

> «Каждый народ, в периоде самобытности своей, вмещает в себе два элемента: общий наследственный от народа-родоначальника, исчезающего в поколениях, и частный, составляющий личность народа. Общий элемент в нас есть родовой, славянский, частный – наш, собственный русский. Посредством личности своей каждый народ развивает в жизни человечества особую мысль Провидения и содействует исполнению благих Его предначертаний», – рассуждает Уваров в «Циркуляре» [5, с. 346–347].

Образ *народа-личности*, воспринятый от Фридриха Шлегеля, – один из самых узнаваемых элементов уваровской историософии [53]. Однако прежде он использовался графом совсем иначе: Уваров различал *физиономию* – наиболее характерные узнаваемые особенности, *лицо* – общий надысторический облик народа, и *личину* – маску чужих и несродных народу понятий и обычаев, которую он носить не должен. В шлегелевском ключе Уваров заключал, что «черты изменяются с летами, но физиономия изменяться не должна».

Однако в «Циркуляре» эта схема претерпевает драматические изменения. Теперь для Уварова **лицо и личность народа – это не вневременная константа, а напротив – приобретаемая в ходе исторической деятельности народа особенность,** частный, конкретный элемент его исторического бытия, который и является, в отличие от родового, действительно существенным, так как выражает особую мысль Провидения об этом народе. Народная личность отныне – не статичное, а динамическое начало, осуществляющееся в ходе *исторической борьбы*, в которой есть победители и проигравшие (мысль для характерной Уварову в прежние времена всепримиряющей схемы «великой цепи» совершенно невозможная).

> «Все славянские государства были в свое время славны и могущественны, и все, как бы по очереди, пали… Этим славянам, утратившим значение свое, свойственно с сожалением вспоминать славное прошедшее. Но Россия, по воле Провидения, выдержала удары судеб и *приобрела самобытность* [выделено мной – *Е.Х.*], претерпев многоразличные долговременные бедствия, внутренние и внешние, она одна возносится над могилами единородных государств и своею собственною личностью представляет беспримерную историю по необъятности владений, многочисленности обитателей и по могуществу народного духа, благоговейно преданная своей вере, своему Государю, сохранившая свой язык, знамение народного ума, народных доблестей, народного чувства. Тогда как прочие славянские народы в изнеможении своем от чуждого владычества еще гордятся общим славянским происхождением, Россия, не помрачившая славы предков, славна своими народными доблестями, славна и прошедшим, и настоящим» [5, с. 347].

Россия не *была* самобытна в виду своего родового славянства, а приобрела самобытность, потому что боролась и воздвигла свой рог там, где иные славянские народы, с жестокосердостью перечисленные поименно (включая поляков), пали, иной раз даже потеряв свой язык и вообще упразднившись, как славяне Померании, Мекленбурга или Мореи.

По отношению к прочим славянам здесь звучит отчетливо социал-дарвинистская нотка – русские выступают у Уварова как наиболее приспособленные, исторически успешные из славян, с чем трудно было спорить, особенно в 1847 году, когда Россия оставалась единственным полностью независимым славянским государством, будучи при этом

на пике державного могущества. Достижения России – это ее собственные достижения, собственная история успеха, к которым остальные славяне лишь хотели бы приобщиться, причем отнюдь не бескорыстно.

Если и раньше Уваров тяготел к скрытой третьеримской доктрине, устанавливая параллели России и Рима, то здесь он прямо приходит к своей оригинальной версии иосифлянского изоляционизма: «Русская земля благочестием всех <славян> одоле»:

> «Святая Русь бедствовала и страдала одна, одна проливала кровь свою за престол и веру, одна подвигалась твердым и быстрым шагом на поприще гражданского своего развития; одна ополчилась против двадцати народов, вторгнувшихся в ее пределы с огнем и мечом в руках. Все, что имеем мы на Руси, принадлежит нам одним, без участия других славянских народов» [5, с. 348].

Грань между двух славянств – в историческом провале одного, утратившего либо православную веру, либо самодержавие в смысле суверенной государственности, либо то и другое разом и, как следствие, вынужденного искать «подпору не в русском начале, а в германском». И в историческом успехе другого, сохранившего и свою национальную религию (а православие есть национальная религия славян хотя бы благодаря культурному и миссионерскому подвигу солунских братьев), и свое самодержавие (то есть суверенитет), и свою народность – язык, письменность, литературу, обычаи и законы.

Уварову удалось встроить в общий контекст русских достижений и приобретенную в петровскую эпоху европейскую образованность.

> «Могучею волею Петр I совершил в свое царствование то, для чего потребны столетия; но он совершил то, до чего народы достигают и в постепенном своем развитии. Какие следствия его преобразований? Мы, оставаясь русскими по духу и сердцу, сравнились с европейцами в образованности. Ломоносов для пересоздания слова русского там же искал сокровищ науки, где Петр Великий находил их для пересоздания государства» [5, с. 348].

Европейское просвещение оказалось уже не «редким цветком», с трудом прививающимся на русской почве, не сомнительным приобретением, не завершенной эпохой ученичества, а еще одним великим историческим деянием русских, модернизационным «большим скачком», который теперь навсегда останется одной из резких черт русского цивилизационного лица, разнящих его от общеславянского.

Интересен интеллектуальный источник новой уваровской историософии. Это прежде всего «Лекции по философии истории» Гегеля, чья философия находилась в центре русского умственного движения 1840-х годов[1]. Уваров немало вынес из идейных споров эпохи, уловил самую суть гегелевской философии истории и обратил ее в полемическое оружие против славянофилов (вспомним слова Погодина о Хомякове: «Гегель был любимым его противником в философии», – или отзыв о Гегеле шелленгианца Шевырева [38]). Народ определяется Гегелем не статически, через его вневременные характерные черты, а динамически, через его дело, через res gestae.

> «Таким образом действует дух народа: он есть определенный дух, создающий из себя наличный действительный мир, который в данное время держится и существует в своей религии, в своем культе, в своих обычаях, в своем государственном устройстве и в своих политических законах, во всех своих учреждениях, в своих действиях и делах. Это есть его дело – это есть этот народ. **Народы суть то, чем оказываются их действия** [выделено мной – *Е.Х.*]. Каждый ан-

[1] Мнение Ц. Виттекер, что Уваров в свой речи 1818 года «предвосхитил» Гегеля, представляется все-таки слишком смелым [44, с. 46]. К тому же в 1818 и в 1847 годах Уваров «совпадает» с Гегелем совершенно по-разному.

> гличанин скажет: мы – те, которые плавают по океану и в руках которых находится всемирная торговля, которым принадлежит Ост-Индия с ее богатствами, у которых есть парламент и суд присяжных и т.д.» [45, с. 71].

Гегельянская «историософия успеха» Уварова носит отчетливо националистический и изоляционистский характер, что ничуть в рамках гегельянской парадигмы не противоречит всемирно-историческому универсализму, так как русские выходят здесь на ступень «народов исторических». Россия встала выше славянства как своей племенной первоосновы, она не обязана славянству ничем существенным за поддержку, и не облечена непременной миссией по его спасению. По славянской «расовой» (в шлегелевском смысле) основе Россия в ходе своей истории вылепила свое неповторимое историческое лицо. Славянство не есть нечто действительное, Россия – действительна и в этом гегелевском смысле разумна.

> «Независимо от общего славянства, в действительности не существующего, а изменившегося в нескольких славянских племенах, мы должны следовать за своими судьбами, свыше нам указанными, и в своем родном начале, в своей личности народной, в своей вере, преданности к престолу, в языке, словесности, в истории, в своих законах, нравах и обычаях мы обязаны утвердить живительное начало русского ума, русских доблестей, русского чувства. Вот искомое начало *народное*, и не *славяно-русское*, а *чисто русское*, непоколебимое в своем основании, собственно наша *народность*» [5, с. 347–348].

К концу своей идеологической эволюции Уваров дает, оперевшись на гегелевскую философию, вполне четкое определение народности – это **выработанная в ходе исторической борьбы национальная личность,** сбывшаяся историческая судьба. Православие и Самодержавие – это две наиболее характерные черты данной исторической личности.

> «Русское славянство в чистоте своей должно выражать безусловную приверженность к Православию и Самодержавию; но все, что выходит из этих пределов, есть примесь чуждых понятий, игра фантазии или личина» [5, с. 346].

Взглянем на ситуацию из 1847 года. Возьмем славянство как определенный этнографический комплекс, как «расу» (опять же в шлегелевском смысле). Ограничим часть этого славянства первой чертой – Православием. Останется лишь небольшое сообщество из русского, сербского и болгарского народов. Ограничим второй чертой – Самодержавием. Останутся только русские, единственные обладавшие на тот момент исторически непрерывной, суверенной, централизованной государственностью[1].

После этих отграничений остальные самобытные черты – особенный ход русской истории, особенные памятники словесности, особенный народный характер и прочие переоткрытые в рамках уваровской политики остатки Русского міра, – оказываются отчасти избыточными. Четкость национального облика русских уже достигнута, и остальные черты вносят лишь уточнение в общую картину.

Если славянофильский историцизм поставил под сомнение уваровскую просвещенческую утопию, то уваровское гегельянство сделало этот историцизм отчасти излишним. Да, в ходе русской исторической борьбы выработалась значительная историческая самобытность, яркая особенность русского национального лица. Но все-таки словами *Православие* и *Самодержавие* сказано главное – именно они выражают особенность русской Народности и впечатаны в ее исторический облик навсегда.

[1] Сербия в том году – еще зависимое от Османской империи княжество, власть в котором находится в руках олигархических конституционалистов – уставобранителей, Черногория так же зависимое от османов княжество под управлением митрополитов, живущее на субсидии из Петербурга.

Жизнь идей после жизни: леонтьевская триада

Славянофилы никогда не приняли нового варианта уваровской историософии. Для них Православие и Самодержавие остались одними из многих, хотя и чрезвычайно важными, аспектами русской Народности. Чем дальше, тем больше рядом с этими началами становился, к примеру, русский крестьянский мір, едва не ставший синонимом Русского міра вообще.

К тому же закончилась сперва уваровская министерская эпоха, затем николаевское царствование, а с ним закончилась и историософия национального успеха. Частичное поражение в частном конфликте против всеевропейской коалиции настолько не соответствовало образу новой всемирно-исторической монархии, рисовавшемуся славянофилами, что русская мысль погрузилась в обиженный минор, не преодоленный в полной мере и по сей день. Соответственно линия «историософии национального успеха», которую представляли Карамзин, Пушкин, и Уваров, по сути, прервалась. Историософия и геополитика Данилевского, к примеру, обосновывают русскую особенность, исходя из опыта исторической неудачи Крымской войны [73].

В 1873 году в «Гражданине» Достоевского Погодин, говоря о наследии Уварова, сводит его к «Народности» и к тому, что эта народность выступала как бы крышей для славянофильского историцизма:

> «Неужели г. Пыпин думает, что Уваровская формула играла роль еще где-нибудь, кроме отчетов министра, т.е. самого автора? В литературе она служила только охранением для охранения мыслей, излагавшихся иногда под ее покровительством; во всяком случае, нельзя было говорить об одном члене формулы отдельно от других. Впрочем, и о трех вместе говорено было немного. Давления никакого она не производила и производить не могла… В Уваровской формуле появилось впервые слово “народность”, в официальном языке до тех пор неслыханное. За одно это слово должно помянуть добром Уварова, а так как мысли живут, развиваются, зреют, то за этим словом последовали и другие – однородные» [30].

Однако подлинный интеллектуальный наследник позднего Уварова явился почти сразу за этим, в 1875 году – это был Константин Леонтьев[1].

Под пером Леонтьева Православие и Самодержавие превращаются в единый цивилизационный комплекс – *византизм*. Сильны и могучи у нас только три вещи – византийское Православие, родовое безграничное Самодержавие и сельский мір (о третьем Леонтьев говорит с выраженным сомнением, скорее идя на уступки славянофильскому культу общины, нежели в реальности признавая его).

> «С какой бы стороны мы ни взглянули на великорусскую жизнь и государство, мы увидим, что византизм, т.е. Церковь и Царь, прямо или косвенно, но во всяком случае глубоко проникают в самые недра нашего общественного организма. Сила наша, дисциплина, история просвещения, поэзия, одним словом, все живое у нас сопряжено органически с родовой монархией нашей, освященной православием, которого мы естественные наследники и представители во вселенной. Византизм организовал нас, система византийских идей создала величие наше, сопрягаясь с нашими патриархальными, простыми началами, с нашим, еще старым и грубым вначале, славянским материалом. Изменяя, даже в тайных помыслах наших, этому византизму, мы погубим Россию» [23, с. 107].

[1] На идейное и интеллектуальное родство Уварова и Леонтьева специально обращает внимание Д.А. Бадалян [40].

С.М. Сергеев сообщает, что провел «специальное исследование, которое показало, что Константин Николаевич нигде в своих сочинениях и в тех письмах, которые нам доступны, не использует “уваровской” триады полностью». Он полагает, что для Леонтьева «неупоминание “Народности” имеет принципиальный характер» и связывает это с тем, что Константин Николаевич крайне подозрительно относится к «народности» как самодостаточному принципу» [66]. О.Л. Фетисенко отмечает, что «это утверждение достаточно софистично» – народность просто трансформирована Леонтьевым, и к тому же нет никакой обязанности следовать триаде рабски [72, с. 9–10].

Никакой подозрительности у Леонтьева к принципу «народности», конечно, нет – он дает свое развернутое разъяснение этого принципа в работе «Грамотность и народность» (чисто уваровский сюжет), устанавливая разницу между народностью и простонародностью [24].

Связать этот парадокс можно и нужно с тем, что Леонтьев в своих размышлениях и особенно в «Византизме и славянстве» базируется не на первоначальной, общеизвестной версии триады, а на философии и историософской логике «Циркуляра» 1847 года, в которой Народность определяется и конкретизируется, приобретает конкретную форму, через Православие и Самодержавие.

> «Условия русского православного царизма были еще выгоднее. Перенесенный на русскую почву, византизм встретил не то, что он находил на берегах Средиземного моря, не племена, усталые от долгой образованности, не страны, стесненные у моря и открытые всяким враждебным набегам... Нет! Он нашел страну дикую, новую, едва доступную, обширную, он встретил народ простой, свежий, ничего почти не испытавший, простодушный, прямой в своих верованиях» [23, с. 99].

Здесь, как видим, православие, царизм (самодержавие) и народность в ее первобытном качестве встречаются в коротком пассаже вместе. Та особенность, которую, на взгляд Леонтьева, придает русская племенная основа византийскому содружеству православия и самодержавия, заключается в русском родовом начале, давшем византийской автократии плоть и кровь.

И вновь Леонтьев прибегает к триаде, чтобы объяснить феномен русского самодержавия, в котором «*соединились три могущественных начала: римский кесаризм, христианская дисциплина (учение покорности властям) и сосредоточившее всю силу свою на царском роде родовое начало*» [23, с. 103]. Это уже «*леонтьевская триада*», как бы развивающая уваровскую.

Уваровская триада объясняла компоновку русской народности, национальные начала. Леонтьевская объясняет компоновку русского самодержавия, государственные начала – самодержавие-автократия, православие-христианство и родовой монархизм – народность. Для законченности следовало бы ввести третью триаду, которая объясняла бы компоновку русского православия. Византийская ортодоксия, оформившаяся как раз к моменту появления на византийском горизонте Руси. Государственная мощь самодержавия, последовательно отождествляющая себя с православием, а православие с собой, что так ярко выразилось в неприятии Флорентийской унии и выработке идеи Третьего Рима. Русский народный порыв к святости, идея Святой Руси как совокупности русских святых, которая столь велика, что составляет в селениях райских целый народ, Небесную Русь.

Наметив новую триаду, Леонтьев возвращается в более привычную уваровскую логику, определяя историческую особенность и судьбу русскости через византизм.

> «Царизм наш, столь для нас плодотворный и спасительный, окреп под влиянием православия, под влиянием византийских идей, византийской культуры. Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь. Визан-

> тизм дал нам силу перенести татарский погром и долгое данничество. Византийский образ Спаса осенял на великокняжеском знамени верующие войска Дмитрия на том бранном поле, где мы впервые показали татарам, что Русь Московская уже не прежняя раздробленная, растерзанная Русь! Византизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости!..
>
> Что, как не православие, скрепило нас с Малороссией? Остальное все у малороссов, в преданиях, в воспитании историческом, было вовсе иное, на Московию мало похожее. Что, как не сохранение в христианстве восточно-византийского оттенка народом Белой и Южной Руси дало нам ту вещественную силу и то внутреннее чувство права, которые решили в последний раз участь польского вопроса?..
>
> Византийский дух, византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают насквозь весь великорусский общественный организм» [23, с. 104–105].

Логика «Византизма и славянства» следует за уваровским «Циркуляром» в привязке к тому же полемическому тезису – превосходство конкретного русского начала в его определенной византизмом исторической самореализации над неопределенным и размытым славянским. И это вносит в научную повестку вопрос о необходимости специального исследования происхождения взглядов Леонтьева. Подобное исследование с большой вероятностью покажет прямую идейную и даже текстуальную зависимость славяноборчества Леонтьева от славяноборчества Уварова.

Единственное, в чем, по всей видимости, Леонтьев последовал за славянофилами, а не за Уваровым, это в отрицательной оценке петровского западничества. В «Записках отшельника» он высказывает желание «содрать с себя ту европейскую маску, которую намазала на лицо наше железная рука Петра I» [25, с. 445]. Зато здесь совершенно уваровские образы лица и маски.

И тут же находим у Леонтьева еще одно уваровское сближение: «Франция – это Афины, Пруссия – Спарта, а Россия – Рим». Что ж, в таком случае Карфаген должен быть разрушен.

Вместо заключения: и все-таки третий национализм

Насколько все-таки уместно говорить о политике Николая I и министра Уварова как о русском национализме?

Сразу отбросим крайний гиперкритицизм, который отказывает в праве называться националистом даже М.Н. Каткову, поскольку он говорит о «национальной», а не о «националистической» политике. Националистической делает ту или иную политику не употребление соответствующего политологического ярлыка, а стоящий за нею смысл.

При характеристике же смысла приходится отметить еще раз разительное противоречие между зарубежными исследователями, которые ни секунды не сомневаются в существовании русской нации как осязаемой политической реальности, и частью российских авторов, у которых история русской нации превращается в «рассказ об ее отсутствии».

Хью Сетон-Уотсон вносит русских в весьма ограниченный перечень «старых непрерывных наций» Европы: «Старыми нациями Европы в 1789 году были на западе – англи-

чане, шотландцы, французы, голландцы, кастильцы и португальцы; на севере – датчане и шведы; и на востоке – венгры, поляки и русские» [82, p. 7]. Энтони Смит полагает, что ключевые составляющие нации – структуры, чувства и симпатии «можно проследить – источников, подтверждающих это достаточно – по крайней мере с позднего средневековья у большинства европейских наций – от Англии и Франции до Польши и России. Они свидетельствуют об определенной национальной преемственности» [83, с. 347]. Русские уверенно причисляются к кругу тех, по выражению Джона Армстронга, «*наций до национализма*», с которых и лепится портрет последующих «сконструированных» наций.

Западные исследователи как бы заранее возразили на тезис своих современных российских коллег, утверждающих, что нация – это гражданское равенство и политическое представительство, а стало быть о русской нации применительно к девятнадцатому и более ранним векам говорить не приходится. Тот факт, что значительная часть русских были крепостными крестьянами, не имевшими ни полных гражданских прав, ни институционального представительства, еще не исключает их из состава русской нации. «Мы можем ощущать принадлежность к сообществу, не имея возможности участвовать в работе его политических институтов» [83, с. 302]. Мало того, барщина и воинская повинность – то есть обязанности, а не права подданных – были формой их включенности в единое национальное пространство [83, с. 359].

Отрицать за русскими право называться нацией можно, на мой взгляд, либо в порядке интеллектуальной провокации, либо с чисто политической целью. Сложнее обстоит дело с национализмом. Даже представители модернистского конструктивизма не понимают тезис «национализм создает нацию, а не нация национализм» слишком уж буквально. Соответственно, нация вполне может существовать, при этом национализм может быть слабо выраженным, поздним или достаточно однобоким.

Каждый из исторически данных русских национализмов необходимо проверять по определенной схеме на соответствие или несоответствие критериям настоящего национализма. Мне таким критерием видится «основная доктрина», характерная для любого национализма, выделяемая Энтони Смитом, исследователем, равно далеким как от крайностей модернизма и конструктивизма в подходе к нациям, так и от наивных примордиалистских моделей. На взгляд Смита, инвариантная основная доктрина национализма такова:

> «1. Мир естественным образом разделен на нации, каждая из которых имеет свой особый характер и судьбу; 2. нация – это источник всей политической власти, и лояльность к ней превосходит все остальные виды лояльностей; 3. если люди хотят быть свободными и самореализоваться, они должны идентифицировать себя с нацией и осознавать свою принадлежность к ней; 4. глобальные свобода и мир – это следствие освобождения и стабильности всех наций; 5. нации по-настоящему могут стать свободными и выразить себя наиболее полно только в собственных суверенных государствах» [83, с. 342].

Попытаемся определить – присутствует ли эта основная доктрина в «третьем национализме» императора Николая I и графа Уварова?

Первый пункт: представление о нациях как о естественном гранении человечества и особом историческом характере и судьбе этих наций – стержень доктрины Уварова, безусловно поддержанной императором: «*Мы должны следовать за своими судьбами, свыше нам указанными, и в своем родном начале, в своей личности народной…*» [5, с. 347].

Столь же очевидно присутствие в уваровской доктрине и третьего пункта, коль скоро она сочетает представление о «просвещении для всех» по мере способностей каждого с представлением о сути этого просвещения как все большей самоидентификации

с нацией через историю, словесность, изучение языка. Задача уваровской своеобразной образовательной утопии в том, чтобы «*развить русскую национальность на истинных ее началах и тем поставить ее центром государственного быта и нравственной образованности*» [1, с. 167].

Не занимаясь формированием внешнеполитической доктрины, Уваров, по понятным причинам, не мог исчерпывающе высказаться на своем посту касательно четвертого пункта, глобальной политической архитектуры. О его видении, впрочем, достаточно свидетельствует намерение «идти… по крайней мере, рядом с прочими европейскими национальностями» [1, с. 236] – его образ Европы – это образ равных в развитии наций. О том же говорят уваровские брошюры эпохи торжества над Наполеоном, в частности «Император всероссийский и Бонапарте», где в финале рисуется утопическая картина расцвета Европейской Республики, состоящей из отдельных наций: Франция, Германия, Россия, Испания, Португалия, Англия [84].

Ту же националистическую картину политического космоса, стандартную для тогдашнего европейского национализма, мы находим и в переписке императора Николая I с канцлером Нессельроде (ведшейся по-французски), касающейся планов войны с Османской империей. В этой переписке император не только планировал добиться «освобождения <l`emancipacion> европейских христиан», инициировав восстание против османов порабощенных ими христианских народов, но и намеревался пригласить «все христианские нации <toutes les nations chretiennes> присоединиться к нам для достижения этой священной цели», которая выражается в желании «действительной независимости <l`independence> молдаво-валахов, сербов, болгар, босняков и греков с тем, чтобы каждый из этих народов <nations> вступил в обладание страною, в которой живет уже целые века, и управлялся человеком по собственному выбору, избранным им самим из среды своих же соотечественников <nationaux>» [85, с. 643].

В вышеприведенной программе императора мы находим и разъяснение его подхода к пятому пункту – истинное бытие наций должно состоять в обретении ими собственной суверенной государственности. Тот же самый взгляд мы обнаруживаем и в уваровском «Циркуляре», но в обратной перспективе – утрата национальной независимости ведет и к утрате нацией своего бытия.

> «Все славянские государства были в свое время славны и могущественны, и все, как бы по очереди, пали: Моравия, Болгария, Сербия, Померания, Чехия, Кроация, Славония, Далмация, Босния, Польша. Многие Славяне даже потеряли язык свой вместе с воспоминаниями о прежней самобытности: в Померании, Мекленбурге, Саксонии и в других странах Германии славянское наречие вытеснено немецким, в Морее – Греческим, в Венгрии – Мадьярским. Этим славянам, утратившим значение свое, свойственно с сожалением вспоминать славное прошедшее. Но Россия, по воле Провидения, выдержала удары судеб и приобрела самобытность, претерпев многоразличные, долговременные бедствия, внутренние и внешние, она одна возносится над могилами единородных государств и своею собственною личностью представляет беспримерную историю по необъятности владений, многочисленности обитателей и могуществу народного духа» [5, с. 347].

Казалось бы, наиболее проблематичным для русского самодержавия должен был быть второй пункт «основной доктрины» национализма: «нация – это источник всей политической власти, и лояльность к ней превосходит все остальные виды». Духовным источником самодержавной власти должен мыслиться Бог, а не нация, самодержавие покоится на собственной силе и именно лояльность к нему, а не к нации, должна быть поставлена во главу угла.

Однако эта трудность наличествует только в теории. На практике «третий русский национализм» и в лице Уварова, и в лице самого Николая I исходит из представления о первенстве лояльности к нации и, мало того, из представления о нации как об источнике политической власти. Именно этот взгляд последовательно прослеживается в документах николаевского царствования.

В манифестах Александра I народ Русский либо вовсе не является субъектом, либо не действует вместе с царем в неразрывном с ним единстве. В манифесте 6 июля 1812 года, где русский народ упомянут всего яснее, он упоминается вслед за дворянством и синодом. Здесь народ мыслится как третье сословие, в каждом гражданине коего царь надеется увидеть Минина.

Политическая доктрина Николая I, публично выражаемая в монарших манифестах, базируется на идее неразрывного союза царя и русского народа. Царь действует в постоянном неразрывном единстве с нацией, мыслимой как семья, как Святая Русь: «Не щадя Себя, будем, в неразрывном союзе с Святою Нашей Русью, защищать честь имени Русского» (18 марта 1848 года) [86]; «Да познает же все Христианство, что как мыслит Царь Русский, так мыслит, так дышит с ним вся русская семья, верный Богу и Единородному Сыну Его Искупителю Нашему Иисусу Христу Православный Русский народ» (собственноручный манифест 11 апреля 1854 года) [87].

Это национализм не республиканского, а иерархического характера. Однако для политического сознания императора Николая I противопоставление нации и монарха безусловно неприемлемо. Очень характерны записки, составленные им по случаю революции в Пруссии как проект контрреволюционного выступления. Король для него и есть истинный представитель нации – прусской нации (в противоположность рассматриваемой как искусственная «германской»). «Несколько подлецов», затеявших мятеж, даже весь восставший Берлин для него ничто по сравнению с национальным целым.

«Берлин, изменнически восставший против своего короля, имеет ли право предписывать законы всему королевству? Подчиниться воле толпы, овладевшей властью, не значит ли это предоставить ей странную силу? И если правительство настолько слабо, что не может найти средство восторжествовать над нею, следует ли из этого, что вся монархия должна ей подчиниться?» [88]. Николай I прямо отвергает суверенитет восставшего народа, однако не во имя богоустановленной власти и королевской прерогативы, а во имя… народа не восставшего, который и есть истинная нация.

Он рекомендует Прусскому королю сообщить народу, что конституция была дарована лишь из жалости к льющейся народной крови и в расчете на то, «что неодобрения не замедлят выразиться со стороны большинства народа, как вещь противоречащая духу народных преданий, воспоминаниям о монархии и к тому же в совершенной противоположности с интересами страны» [88].

Характерна постоянная апелляция Николая I к крови, практически мистика крови, которой пронизаны его манифесты. Казнь декабристов он рассматривает как «жертву очистительную за кровь Русскую, за веру, Царя и Отечество, на сем самом месте пролиянную» (Манифест 13 июля 1826 года) [20]. В собственноручно написанном проекте воззвания Паскевича к христианским народам Османской империи на переход турецкой границы сообщается, что «не раз лилась уже за вас Русская кровь и, с благословением Божьим, лилась не даром. Ею орошены права, приобретенные теми из вас, которые менее других стеснены в своем быте» [89]. Эта мистика регулярно прорывается и в документах Уварова [1, с. 180, 182; 2, с. 104; 5, с. 348].

Национализм Николая I носит, конечно, не зоологический, он носит семейный, родовой характер. Нация для него семья, спаянная высшим кровным родством, превосходящим

всякое другое родство и для самого императора, и для всех подданных. Именно поэтому он полагается на «природную русскость» как на фактор высшей лояльности. Характерен в этом смысле данный в манифесте 13 июля 1826 года образ расправы над декабристским заговором как «дела всей России».

> «Не в свойствах, не во нравах Русских был сей умысел… Мы видели при сем самом случае новые опыты приверженности; видели, как отцы не щадили преступных детей своих, родственники отвергали и приводили к Суду подозреваемых; видели все состояния соединившимися в одной мысли, в одном желании: суда и казни преступникам… Единодушным соединением всех верных сынов Отечества, в течение краткого времени укрощено зло, в других нравах долго неукротимое» [20].

Именно из этого всенародного подавления мятежа вытекает взыскание с дворянства «подвига к усовершению отечественного, природного, нечужеземного воспитания», которое ляжет в основание уваровской образовательной программы, осуществляемой «в государстве, где любовь к Монархам и преданность к Престолу основаны на природных свойствах народа».

Николай I видит в нации носительницу консервативного суверенитета, которая сопрягается в семейном союзе с монархом и только через такое совместное действие и можно «защитить честь имени Русского». Его двукратные визиты в Москву, состоявшиеся после революционных взрывов в Европе, – в марте-апреле 1849 и августе 1851 года – сопровождаются поклоном народу с Красного крыльца, обозначают ритуал обновления того права представительства, которое самодержавие обретает через непосредственное единение с нацией [70, с. 516–527]. Перед нами консервативная, самодержавная интерпретация нации-суверена, но сведение понятия о нации-суверене исключительно к республиканской интерпретации было бы заведомой подменой.

Нам могут возразить, что эта консервативная нация Николая I является «русской» только по имени, не этнической. Этнический же аспект национального самосознания императора, якобы, был нерусским и антирусским, немецким, в доказательство чего можно привести его характерную фразу об остзейцах: «русские дворяне служат государству, немецкие – нам».

Однако Николай I ничего такого не говорил. Невозможно найти источники этого изречения ранее пропагандистских брошюр совершившего прыжок из кадетов в марксисты А.Е. Преснякова [90, с. 9; 91, с. 26], изданных в ту эпоху, когда в борьбе с династией Романовых не брезговали и сочинением «Дневников Вырубовой». Никакие «концы» этого исторического анекдота от Преснякова в опубликованных исторических источниках не обнаруживаются, никто из исследователей, занимавшихся николаевской эпохой, не приводил эту фразу с другой отсылкой, нежели отсылка к работам Преснякова. А потому этот апокриф, возникший в контексте подробного обсуждения немецких связей династии в главе с выразительным названием «Военно-династическая диктатура», приходится числить по тому же разряду, что и «шпион полковник Мясоедов», «провод из спальни царицы в Германский генеральный штаб» и прочие пропагандистские инструменты ломки русской монархической государственности, как минимум пока не будет доказано обратное.

При поиске источника этой псевдоцитаты, вполне вероятно, прав С.М. Сергеев, без всякой критики сославшийся на пресняковский анекдот, а затем подкрепивший его следующим пассажем К.Н. Леонтьева:

> «Первые провозвестники собственно национального дела в России в обоих смыслах (культурном и племенном), специалисты этого вопроса, не могли поэтому считать политику этого великого Монарха национальной. Они,

> славянофилы, сверх того, жаловались неоднократно на то, что при Николае Павловиче правительство наше и во внешних делах слишком потворствовало немцам, и в самой России было к ним "слишком" благосклонно. И.С. Аксаков в 57-м году, при мне, в крымском имении покойного Осипа Николаевича Шатилова, говорил так: "Остзейские бароны и другие наши немцы внушали покойному Государю следующую мысль. Для коренных русских нация русская, русский народ дороже, чем Вы. Нам же нет дела до русской нации; мы знаем только Вас, Государя – вообще. Мы не русской нации "хотим" служить; мы своему Государю хотим быть верными. Но так как наш Государь есть в то же время и Российский Император, то, служа Вам верой и правдой, мы служим России". Аксаков находил, что эта постановка вопроса ложная и вредная для России; ибо русский народ доказал на деле не раз свою "потребность" в Самодержавии и без всяких немцев. Привожу я здесь этот исторический разговор не для того, чтобы разбирать, чей взгляд правильнее, взгляд Аксакова или взгляд остзейских баронов, а только в виде "живого" примера тому, как смотрели славянофилы на дух правления Императора Николая. Они не находили его национальным, хотя и чрезвычайно чтили в Императоре то, что он за границей "держал знамя России грозно"» [92, с. 604].

Однако взгляд остзейцев на самих себя и их попытка через лояльность монархии уйти от проблемы лояльности к русской нации, это совсем не взгляд императора Николая I на остзейцев и не его отношение к русским и немцам. Последнее, по всей видимости, гораздо точнее было высказано императором в споре с Ю.Ф. Самариным о его «Письмах из Риги» и остзейцах, записанном славянофилом по горячим следам.

«Вы очевидно возбуждали вражду Немцев против Русских, вы ссорили их тогда, когда следовало их сближать; вы укоряете целые сословия, которые служили верно; начиная с Палена я мог бы высчитать до 150 генералов». Царь говорил не о том, что немцы служат лично ему, а, напротив, защищал немцев от подозрения, что те служат России хуже, чем русские. Дальше в монологе императора вполне ясно обозначено его собственное воззрение на службу – он требует от Самарина в дальнейшем служить, «как Вы присягали, верою и правдою, а не нападать на правительство. Мы все так должны служить; я сам служу не себе, а вам всем, и я обязан наводить заблуждающихся на путь истины, но я никому не позволю забываться; я не должен этого по той самой присяге, которой и я верен» [93, с. XCIII]. Разумеется, человек, который говорил «я сам служу не себе», не мог поставить немцам в заслугу то, что они «служат не государству, а нам».

Слово «мы» в смысле «Романовы» звучит у императора в этом разговоре совсем в ином контексте – сама мысль об отнесении его и его династии к немцам звучит для него прямо оскорбительно: «Вы хотели сказать, что со времени Императора Петра I и до меня мы все окружены Немцами и потому сами Немцы».

«В 1875 г. Ю.Ф. добавил на словах, что Государь при этом высказал, что его книга ведет к худшему, чем 14 декабря, так как она стремится подорвать доверие к правительству и связь его с народом, обвиняя правительство в том, что оно н*ациональные интересы русского народа приносит в жертву немцам* [выделено мной – *Е.Х.*]» – пишет Дмитрий Фёдорович Самарин [93, с. XCII].

Присмотримся внимательнее к логике императора. Книга Самарина вредна тем, что подрывает связь правительства с народом, возводя ложное обвинение в том, что правительство приносит национальные интересы русского народа в жертву немцам. Такое обвинение ведет к худшему, чем декабристское восстание, так как выступление против

правительства, обвиненного в национальной измене, будет не делом кучки заговорщиков, а порывом целого народа.

Этот логический ход с определенностью приводит нас к своему источнику – убеждению Николая I, что именно национальные интересы русского народа являются подлинным источником политической легитимности для самодержавной монархии в России. Такое убеждение и составляет сердцевину второго пункта «основной доктрины национализма» по Энтони Смиту, и рассматривается как признак «национализма как он есть» модернистскими теориями национализма.

Николай I разговаривал с Самариным как русский националист с русский националистом – националист, облеченный всею полнотой власти и вынужденный соразмерять приказания с реальной исполнимостью, с националистом, смеющим находится в кругу не связанных административной процедурой политических идей (именно в этом и состоял главный царский упрек молодому чиновнику, что, будучи служащим, он ведет себя как публицист). Однако разговаривают они, по существу, как единомышленники.

И.С. Аксаков после своего ареста и допроса писал 4 апреля 1849 года, что «эта история, пополнив собою историю Самарина, довершила убеждение в правосудии и *русских свойствах* Государя» [94, с. 487][1]. «Не может подлежать сомнению, что мысли, высказанные в Рижских письмах, были в сущности сочувственны Государю… – отмечает Д.Ф. Самарин. – В своем взгляде на остзейский вопрос… Государь Николай Павлович опередил не только Петербургское общество, но и то, что называется у нас высшим правительством, за исключением разве немногих лиц» [93, с. XCIX–C].

Среди этих немногих лиц был, в частности, шеф III Отделения граф А.Ф. Орлов, уверявший славянофила, что убеждал императора в правоте его суждений о том, что «Остзейцы, в противность нам, Русским, постоянно отделяют личность Государя от отечества» [93, с. CXI]. Иными словами, и в «русской партии» бюрократии, и в славянофильских кругах противопоставление монарха и государства рассматривалось не как воззрение императора, а напротив – как злокозненное остзейское мнение.

О том, на чьей стороне был в этой борьбе С.С. Уваров и как воспринималась его программа, говорит следующий факт. В «Письмах из Риги», написанных в 1848 году, Самарин дает формулировки, перефразирующие (впрочем, со значительным полемическим усилением) «Отчет» Уварова 1843 года.

> Уваров писал:
>
> «Истинное и главное заблуждение немецких губерний состоит в том, что они до сих пор не постигают, «что Россия возмужала»; они видели в пеленах наш государственный быт; весьма часто были призываны в пестуны к его колыбели и в свидетели всех недоумений, всех ошибок, всех колебаний нашего внутреннего образования… Они упорно заключают, что Россия – тот же младенец, к охранению коего и они платили дань усердия, не всегда беспристрастного, не всегда бескорыстного. Словом, они не постигают России Николая I… С одной стороны, Германия изменилась, с другой – Россия возмужала. Тщетно дух остзейских губерний считает себя представителем немецкого просвещения в России; мы это просвещение понимаем и ценим вернее их» [1, с. 180–181].

Самарин пятью годами позже дает ту же мысль со славянофильским политическим доворотом – вместо законченной школы вопрос встает о цивилизационной кабале:

> «В настоящее время, когда вся Европа уже признала нас совершеннолетни-

[1] Даже если допустить необоснованное сомнение, что эта фраза предназначалась для глаз III Отделения, то сам за себя говорит тот факт, что Аксаков предполагал бы польстить императору, сказав о его «русских свойствах». Но всего вернее, что эти слова выражали искреннее убеждение Аксакова на тот момент.

> ми, остзейцы продолжают смотреть на нас глазами недальновидных современников Петра I. Они понимают реформу его следующим образом: в народе, не заключавшем в себе ни одного задатка будущности и развития, явился человек, который понял его ничтожество и отдал его на выучку немцам, как лучшим представителям человеческих начал. Он завещал России не быть Россиею, а претвориться по возможности в Германию: ибо Россия и невежество, Германия и просвещение – слова тождественные. Таким образом в понятиях остзейцев дело шло совсем не о школе, сквозь которую мы должны были пройти, а о вечной кабале» [34 с. 51].

Мы видим в этой перекличке как общие мотивы, происходящие из вероятного знакомства Самарина с текстом уваровского отчета, так и уловленную нами прежде разницу уваровского цивилизаторского и славянофильского цивилизационного подходов. В отношении к остзейскому вопросу и министр и славянофил, несомненно, находятся на одной волне.

К.Н. Леонтьев, довольно верно передав воззрение Аксакова (равно как и Самарина, и графа Орлова, и многих других сторонников русского направления) на остзейцев, совершенно необоснованно перенес этот взгляд на «дух правления» Николая I. Того самого правления, при котором императором и его министром просвещения был впервые поставлен вопрос о русификации края. У славянофилов, разумеется, такой оценки этого духа правления быть не могло, поскольку они сами были порождением этого духа. Да, они были моложе и шли дальше и смелее по дороге «русификации русских», чем царь и его министр, да, они решительнее требовали этой русификации и для окраин империи. Но это было расхождение понятия о темпах, а не о направлении движения.

Русскими консерваторами прошлого поворотное значение николаевской эпохи в формировании русской национальной идентичности признавалось безоговорочно. Характерен в этом смысле панегирик Николаю I консервативного публициста М.В. Юзефовича, который выразил «дух правления» императора совсем иначе, чем Леонтьев:

> «Воздадим ему пока должную благодарность за возможное, им сделанное для великого вопроса нашей народности, за важную заслугу начатого им поворота, которого не остановит уже никакая противоборствующая сила: нашей крепкой несокрушимой народности, раз вызванной к самопознанию, не одолеют уже никакие чуждые ей убеждения, и ежели у нас еще недавно видели русских людей, которые после падения Севастополя говорили, что они плакали при известии об этом событии и чувствовали себя способными умереть за Россию, хотя и не желали ей победы, то на окопах того же Севастополя видели в первый раз и выпущенных на волю каторжников, которые геройски защищали свою тюрьму и умирали за нее, говоря: хоть тюрьма, да наша!» [95, с. 112].

Можно сколько угодно говорить о фасадности николаевского национализма, об официозности уваровской триады, о том, что они были обращены не к настоящей, но к «служилой» нации (та ли нация настоящая, которая, обладая всеми демократическими институтами, неспособна, к примеру, остановить свое миграционное замещение?), одно несомненно – эта картина единения прогрессивных «пораженцев» и самоотверженных каторжников под Севастополем и есть то состояние, которое именуется нацией в самом строгом смысле слова.

Литература

1. *Уваров С.С.* Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843 / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 133–236.
2. *Уваров С.С.* О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 102–108.
3. *Уваров С.С.* Обозрение управления Министерством народного просвещения. 1849 / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 108–112.
4. *Уваров С.С.* О средствах сделать народное воспитание специальным, не отступая от общих видов оного / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 113–122.
5. *Уваров С.С.* <Циркулярное предложение попечителю Московского учебного округа> / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 344–350.
6. *Уваров С.С.* Доклад императору Николаю I о славянстве / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 76–86.
7. *Уваров С.С.* О преподавании истории относительно к народному воспитанию / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 363–375.
8. *Уваров С.С.* Речь президента Императорской академии наук, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 года / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 287–317.
9. *Уваров С.С.* О системе чинов в России / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 86–93.
10. *Уваров С.С.* Общий взгляд на философию словесности / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 351–363.
11. *Уваров С.С.* Совершенствуется ли достоверность историческая? / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 375–387.
12. *Уваров С.С.* Штейн и Поццо ди Борго / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 387–402.
13. *Уваров С.С.* О народонаселении в России / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 122–132.
14. *Уваров С.С.* Отчет по обозрению Московского университета / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 317–344.
15. *Уваров С.С.* [Письмо Николаю I] // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 92–100.
16. Обозрение истекшего пятилетия // Журнал Министерства народного просвещения. 1839. № 1. С. 1–36.
17. Четыре служебных документа министра С.С. Уварова // *Шевченко М.М.* Конец одного Величия: власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М., 2003. С. 227–254.
18. *Уваров С.С.* Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М., 2010.
19. Доклады министра народного просвещения С.С. Уварова императору Николаю I / публ. М.М. Шевченко // Река времен. М., 1995. Вып. 1. С. 68–78.
20. Высочайший манифест 13 июля 1826 // *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый, его жизнь и царствование. СПб.: Изданіе А.С. Суворина, 1903. Т. 1. С. 705–706.
21. *Карамзин Н.М.* Мнение русского гражданина / Н.М. Карамзин // О древней и новой России. М. : Жизнь и мысль, 2002.
22. *Катков М.Н.* Книга г. Самарина «Окраины России» / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4: Философские чтения: Статьи, трактаты, полемика. СПб.: Росток, 2011. С. 509–530.
23. *Леонтьев К.Н.* Византизм и славянство / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и Славянство Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872-1891). М. : Республика, 1996. С. 94–156.
24. *Леонтьев К.Н.* Грамотность и народность / К.Н. Леонтьев // Поздняя осень России. М., 2000. С. 157–196.
25. *Леонтьев К.Н.* Записки отшельника (1887 г.) / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891). М. : Республика, 1996. С. 432–457.
26. *Никитенко А.В.* Записки и дневник: в 3 т. М., 2004. Т. 1.
27. *Пестель П.И.* Русская Правда // Восстание декабристов. Документы. Т. VII: «Русская Правда» П.И. Пестеля и сочинения, ей предшествующие. М. : Госполитиздат, 1958.
28. *Погодин М.П.* Взгляд на русскую историю / М.П. Погодин // Историко-критические отрывки. Книга первая. М. : Типогр. Августа Семена, 1846. С. 1–18.
29. *Погодин М.П.* Петр Великий / М.П. Погодин // Историко-критические отрывки. Книга первая. М. : Типогр. Августа Семена, 1846. С. 333–364.
30. *Погодин М.П.* К вопросу о славянофилах // Гражданин: Газета-журнал политический и литературный. СПб., 1873. 26 марта. С. 415–420.
31. *Погодин М.П.* О книге господина Шедо-Ферротти / М.П. Погодин // Вечное начало. Русский дух. М. : Институт русской цивилизации, 2011. С. 646–655.
32. *Пушкин А.С.* О народном воспитании / А.С. Пушкин // Собр. соч.: в 10 т. М. : ГИХЛ,

1959–1962. Т. 7: История Пугачева, Исторические статьи и материалы, Воспоминания и дневники. С. 355–360.

33. *Самарин Ю.Ф.* О двух началах нашей народности, православии и самодержавии. Письмо к члену Камеры депутатов г. Могену / Ю.Ф. Самарин // Собр. соч. : в 5 т. Т. 1: Литература и история. СПб. : Росток, 2013. С. 49–57.

34. *Самарин Ю.Ф.* Письма из Риги. Май-июнь 1848 / Ю.Ф. Самарин // Собр. соч. : в 5 т. Т. 3: Русское самосознание. СПб.: Росток, 2016. С. 22–151.

35. *Самарин Ю.Ф.* Письма К.С. Аксакову / Ю.Ф. Самарин // Собр. соч.: в 5 т. Т. 3: Русское самосознание. СПб. : Росток, 2016. С. 295.

36. *Хомяков А.С.* Несколько слов о философическом письме (напечатанном в 15 книжке «Телескопа») (Письмо к г-же Н.) / А.С. Хомяков // Сочинения : в 2 т. Т. 1: Работы по историософии. М. : Московский философский фонд; Изд-во «Медиум», 1994. С. 449–455.

37. *Хомяков А.С.* О старом и новом / А.С. Хомяков // Сочинения : в 2 т. Т. 1: Работы по историософии. М. : Московский философский фонд; Изд-во «Медиум», 1994. С. 456–470.

38. *Шевырев С.П.* Из писем С.С. Уварову // Шеллинг. Pro et contra. СПб. : РХГА, 2001.

39. А*ндерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М. : КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.

40. *Бадалян Д.А.* Леонтьев и «слишком либеральные» славянофилы // Российская история. 2014. № 2. С. 19–23.

41. *Бендин А.Ю.* 1863 г. в судьбах старообрядцев Северо-Западного края Российской империи // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «История России». 2011. № 1. С. 77–92.

42. *Бендин А.Ю.* Михаил Муравьев-Виленский: усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи. М. : ММО «CISEMO»; Книжный мир, 2017.

43. *Велижев М.* «Цивилизация» и «средний класс» // Новое литературное обозрение. 2010. № 104. С. 29–59.

44. *Виттекер Ц.Х.* Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб., 1999.

45. *Гегель.* Философия истории / Гегель // Сочинения. Т. 7. М.; Л. : Соцэкгиз, 1935.

46. *Геллнер Э.* Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национализм. М. : Праксис, 2002. С. 146–201.

47. *Гринфельд Л.* Национализм. Пять путей к современности. М. : ПЕР СЭ, 2008.

48. *Долбилов М.* Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010.

49. *Дурылин С.* Г-жа де Сталь и ее русские отношения // Литературное наследство. М., 1939. Т. 33–34. С. 215–330.

50. *Жуковская Т.Н.* С.С. Уваров и Кирилло-Мефодиевское общество, или кризис «официальной народности» // Отечественная история и историческая мысль в России XIX–XX веков: Сб. статей к 75-летию Алексея Николаевича Цамутали. СПб.: Нестор-История, 2006. С. 196–207.

51. *Зеленина Я.Э.* Коллекция графа А.С. Уварова как материал для его работы «Русская символика» // Уваровские чтения-VI. Граница и пограничье в истории и культуре: материалы научной конференции, Муром, 16–18 мая 2005 г. Муром, 2008.

52. *Зорин А.Л.* Кормя двуглавого орла…: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М. : Новое литературное обозрение, 2004.

53. *Зорин А.Л.* Идеология «Православия – Самодержавия – Народности» и ее немецкие источники // В раздумьях о России (XIX в.) / отв. ред., сост. и авт. вступ. ст. Е.Л. Рудницкая. М. : Археогр. центр, 1996. С. 105–128.

54. *Иванов О.А.* Идеология «православие, самодержавие, народность» С.С. Уварова // Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее: сб. науч. трудов / под ред. А.Ю. Минакова. Воронеж, 2001. Вып. 1. С. 92–110.

55. *Комзолова А.А.* Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. М. : Наука, 2005.

56. *Майофис М.* Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815–1818 годов. М. : Новое литературное обозрение, 2008.

57. *Мещерякова А.О.* Создатель русской триады: интеллектуальная биография С.С. Уварова // Вопросы истории консерватизма : Альманах. 2015. № 1. С. 132–143.

58. *Миллер А.И.* Триада графа С.С. Уварова и национализм / А.И. Миллер // Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. М., 2010 (см. также: https://polit.ru/article/2007/04/11/uvarov/).

59. *Миллер А.И.* Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016.

60. *Минаков А.Ю.* Русский консерватизм в первой четверти XIX века. Воронеж : Изд-во Воронежского государственного университета, 2011.

61. *Нольде Б.Э.* Юрий Самарин и его время. Paris : YMCA-Press, 1978.

62. *Пайпс Р.* Сергей Семенович Уваров : жизнеописание. М., 2013. 81 с.

63. *Парсамов В.С., Удалов С.В.* Сергей Семенович Уваров // *Уваров С.С.* Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М., 2010. С. 5–54.

64. Патриотизм и национализм как факторы российской истории (конец XVIII в. – 1991 г.) : Коллективная монография. М. : Политическая энциклопедия, 2015.

65. *Сергеев С.М.* Русская нация, или Рассказ об истории ее отсутствия. М. : Центрполиграф, 2017.

66. *Сергеев С.М.* Творческий традиционализм Константина Леонтьева. Статья первая [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://portal-slovo.ru/history/41602.php

67. *Степанов М.* Жозеф де Местр в России // Литературное наследство. М., 1937. Т. 29–30. С. 577–726.

68. *Тесля А.А.* Первый русский национализм… и другие. М. : Европа, 2014.

69. *Удалов С.В.* «Православие, самодержавие, народность»: идеологема николаевского царствования // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. С. 144–160.

70. *Уортман Р.С.* Сценарии власти : Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1: От Петра Великого до смерти Николая I. М. : ОГИ, 2004.

71. *Федосова Э.П.* Граф М.Н. Муравьев-Виленский (1796–1866): Жизнь на службе империи. М. : Институт российской истории РАН, 2015.

72. *Фетисенко О.Л.* «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX – первой четверти XX века). СПб.: Пушкинский дом, 2012.

73. *Холмогоров Е.С.* В поисках утраченного Царьграда. Цымбурский и Данилевский // Тетради по консерватизму. 2015. № 1. С. 45–64.

74. *Холмогоров Е.С.* Поминки по полупросвещению. «Вехи», «Из под глыб» и идеология Солженицына // Тетради по консерватизму 2017. № 4. С. 45–64.

75. *Шевченко М.М.* Сергей Семенович Уваров // Российские консерваторы. М., 1997. С. 95–136.

76. *Шевченко М.М.* Понятие «теория официальной народности» и изучение внутренней политики императора Николая I // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 2002. № 4. С. 89–104.

77. *Шевченко М.М.* Уваров С.С. // Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века : энциклопедия. М., 2010. С. 529–534.

78. *Miller A.I.* The Romanov Empire and the Russian Nation // Nationalizing Empires / ed. by S. Berger, A. Miller. Budapest : CEU Press, 2014.

79. *Riasanovsky N.V.* Nicholas I and official nationality in Russia, 1825–1855. Berkeley: University of California Press, 1959.

80. *Smith A.D.* The cultural foundations of nations: hierarchy, covenant, and republic. Malden; Oxford; Carlton: Blackwell Publishing, 2008 (см. также русский перевод: *Смит, Ентони Д.* Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка. Наукове видання. Киев: Темпора, 2009).

81. *Устрялов Н.Г.* Начертание русской истории для средних учебных заведений. СПб., 1842.

82. S*eton-Watson, Hugh.* Nations and States. London: Methuen, 1977.

83. *Смит, Энтони.* Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М. : Праксис, 2004.

84. *Уваров С.С.* Император Всероссийский и Бонапарте / С.С. Уваров // Избранные труды. М., 2010.

85. *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Т. 2. СПб. : Изданіе А.С. Суворина, 1903.

86. Высочайший манифест 18 марта 1848 // Николай I и его время : в 2 т. М. : Олма-Пресс, 2000.

87. Манифест 11 апреля 1854 // Николай I и его время : в 2 т. М. : Олма-Пресс, 2000.

88. Записки имп. Николая Павловича о Прусских делах // Николай I и его время: в 2 т. М. : Олма-Пресс, 2000.

89. Воззвание 7 апреля 1854 // Николай I и его время : в 2 т. М. : Олма-Пресс, 2000.

90. *Пресняков А.Е.* Апогей Самодержавия. Николай I. Л. : Брокгауз-Ефрон, 1925.

91. *Пресняков А.Е.* 14 декабря 1825 года. М. ; Л., 1926.

92. *Леонтьев К.Н.* Культурный идеал и племенная политика / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891). М. : Республика, 1996. С. 600–625.

93. *Самарин Дмитрий.* Предисловие // Сочинения Ю.Ф. Самарина. Т. 7: Письма из Риги и История Риги. М. : Типогр. А.И. Мамонтова, 1889.

94. *Аксаков И.С.* Письма к родным. 1844–1849. М. : Наука, 1988.

95. *Котов А.Э.* Михаил Юзефович – идеолог русского политического предмодерна // Вопросы истории. 2018. № 6. С. 105–121.

Аннотация. В статье рассматриваются воззрения графа С.С. Уварова в контексте «третьего русского национализма» – волны националистической идеологии и политики в России, связанной с деятельностью императора Николая I. Политика Уварова во главе Министерства народного просвещения, определяемая знаменитой «триадой», показывается как классическая форма националистического стандартизированного образования, нацеленного на унификацию школы, формирование национальных образовательных кадров, русификацию окраин и подъем национального сознания у представителей коренной национальности Империи. Относительный неуспех политики русификации окраин связан с тем, что она приходила в противоречие с политикой «русификации русских» – формирование восприятия России как самобытной цивилизации противоречило предназначавшейся Уваровым для нее роли в качестве носительницы европейской цивилизации для окраин. Отмечается, что под влиянием этого противоречия в трактовке триады самим Уваровым произошли изменения – в 1840-х годах он в посвященном славянской проблеме «Циркуляре» переходит к гегельянскому истолкованию русской народности как успешного исторического дела, а православия и самодержавия как характерных черт, определяющих эту народность. Такая трактовка окажет заметное влияние на формирование воззрений Константина Леонтьева. Однако приписанное Леонтьевым славянофилам противоречие «духу правления» Николая I и политике Уварова было в действительности гораздо менее острым. Для политической доктрины императора и министра был характерен именно национализм в самом строгом смысле слова – включая признание нации высшим источником политической легитимности. Расхождения между императором и славянофилами касались не направления, а темпов политических изменений.

Ключевые слова: Николай I, Уваров, уваровская триада, православие, самодержавие, народность, славянофилы, русификация, народное образование, цивилизация, Константин Леонтьев, Юрий Самарин, Иван Аксаков, остзейцы, нация, национализм, панславизм.

Yegor Kholmogorov, Essayist. . E-mail: holmogorow@yandex.ru

Russification of the Russians. Count Uvarov and the Third Russian Nationalism

Abstract. The article is devoted to the study of Count S.S. Uvarov's views in the context of the "third Russian nationalism" – the trend in nationalist ideology and politics in Russia closely connected with the reign and activities of the Emperor Nicolas I. The policy of Uvarov as the Minister of Public Education was determined by the famous "triad", and is described in the article as the classic form of nationalistic standardized education aiming at the unification of school, forming of national specialists in education, Russification of the population in the remote areas of the country and the rise of national awareness of the indigenous population of the Empire. The relative failure in the Russification of the country remote areas was accounted for by its contradictions with the policy of the "Russification of the Russians", as the forming of the perception of Russia as a specific civilization with its own identity was contrary to Uvarov's objective of presenting it as European civilization transmitter for the remote areas of the Empire. The author points out that under the influence of those contradictions there occurred changes in Uvarov's interpretation his triad when in his work on the Slavic problems "The Circular" in the 1840-ies he switched to Hegelian interpretation of Russian Nationality as successful historical cause, while Orthodoxy and Autocracy he described as characteristic features determining Nationality. That interpretation later had very important influence on the views of Konstantin Leontiev. However, the opposition of Slavophiles to the "spirit of the reign" of Nicolas I and the Uvarov's policy was far less acute than described by Leontiev. The political doctrines of the Emperor and his minister were characterized by nationalism in its strict sense including the recognition of nation as the main source of political legitimacy. The differences in the views of the Slavophiles and the Emperor dealt not with the general direction but with the momentum of political changes.

Keywords: Nicolas I, Uvarov, Uvarov's Trisd, Orthodoxy, Autocracy, Nationality, Slavophiles, Russification, Public Education, Civilization, Konstantin Leontiev, Yuri Samarin, Ivan Aksakov, Baltic Germans, Nation, Nationalism, Pan-Slavism.